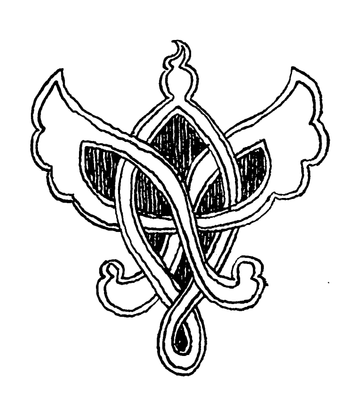
Господин Великий Новгород

Дмитрий БАЛАШОВ

Дмитрий БАЛАШОВ

Господин Великий Новгород

Повесть



Лениздат
1990

Балашов Д. М.
Б20 Господин Великий Новгород: Повесть.— Л.: Лениздат, 1990.— 160 с., ил.
ISBN 5-289-00622-2

Переиздание повести известного советского писателя. Книга повествует о жителях древнего Новгорода, их судьбах, привязанностях, особенностях быта и культуры. В центре произведения — судьба русского купца, горячего патриота Новгородской республики, человека мудрого, инициативного, душевно богатого. Повесть написана живо, увлекательно, имеет большую познавательную ценность. Завершает книгу послесловие автора «Повесть о Великом Новгороде, его зените и его героях».

Б $\frac{4702010201-016}{M171(03)-90}$ 150—90 84(2)7

Художник Б. А. Аникин
Редактор Н. Н. Сотников

Дмитрий Михайлович Балашов

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Повесть

Заведующий редакцией А. И. Белинский
Художественный редактор А. К. Тимошевский
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор Е. В. Новосельская

ИБ № 5083

Сдано в набор 03.07.89. Подписано к печати 24.11.89. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага офсетная. Гарн. обыкн. нов. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,40. Усл. кр.-отт. 8,93. Уч.-изд. л. 9,43. Тираж 100 000 экз. Заказ № 142. Цена 75 коп.
Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

ISBN 5-289-00622-2

I

Олекса Творимирич возвращался из немцев, куда ездил по торговым своим делам, домой.

Под Саблей, обогнав обозы,— Радько довезет!— налегке, сам-двое со Станятой (нетерпение одолело) пустились вперед, и вот уже пошли ближние погосты да пожни, чаще и чаще заобгоняли возы с сеном, дровами, обилием,— близился Новгород.

В воздухе пахло весной, ноздреватый снег оседал рыхлыми тяжелыми кучами, проваливался под полозьями саней. Копыта взбрызгивали ледяную подснежную воду. Взъерошенные, отощавшие в долгом пути кони то и дело сбивались, вразнобой дергая упряжь. Солнце по-настоящему пекло, и купец, радуясь близкому дому, здоровью, весеннему солнцу, распоясался и распахнул шубу: любо!

— Эй, Станька! Любава-то без тебя не сблодила чего?

Тот не расслышал слов, оглянулся на голос хозяина — рожа веселая, тоже рад, прокричал в ответ что-то.

— Чегой-то?— переспросил Олекса.

— Вона! София видна!

Над верхушками елей уже посвечивал золотой шлем, и, когда в ясном воздухе, мерно отделяясь друг от друга, поплыли знакомые звоны, Олекса Творимирич широко, радостно, истово перекрестил себя: приехали! Дома!

Вот и Левонтьев крест, вот и часовня, а вот и конная сторожа новгородская, княжеская.

Разом переглянулись Олекса со Станятой, озорниковато кинув глазом на прикрытую рогожей тушу.

Кабана свалили за Мшагою: дуром сунулся к обозу, облаяла выжля[1]. Олекса сгоряча кинулся наперехват с коротким мечом, да подкатнулась нога, провалилась в снег, меч прошел скользом. Зверь рванулся, выгорбив щетинистую серую спину, пошел на Олексу. Станята подхватил кабана на рогатину, спас. Олекса вскочил, ударил снова — в бок и не промазал на этот раз. Кабан дрогнул

[1] Выжля — охотничья собака. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

и стал валиться на задрожавших ногах, хрюкнув, посунулся в сугроб, заливая вспаханный снег кровью.

За охотой забыли все на свете, а тут вдруг холодом прошло по спине: никак на княжьих угодьях наозоровали? «А свиньи бити князю за шестьдесят верст от города»,— плохой купец не знает договорных уложений наизусть! Посмотрели друг на друга. Станята хмыкнул, разлепил толстые губы:

— А, никто и видел!

Олекса воровато повел глазами, бросил хрипло:

— Ладно, не бросать же... (Ай взять да отдать?.. Да и отдавать жаль, такой подарок!) Была не была! Заворачивай сани!

Свели упиравшихся, всхрапывающих от запаха крови лошадей в снег. Завернули зверя в мешки, в сено, чтоб не капала кровь, завалили сверху. Лишь бы довезти до Малых Пестов, там уж можно и открыть — поди проверь, где били!

Ночью Олекса вставал, подходил к возам, отогнал зарычавшую собаку. Под санями натекла теплая лужица. Крякнув, натужился, сдвинул воз, затоптал, закидал снегом. Так и береглись до Шелони, но бог миловал. Дальше уже везли закоченевшую тушу открыто, хвастались удачей — знай наших! Мужики прищелкивали языком, тыкали зверя кнутовищами:

— Матерущий, беда!

Один только вредный старик прищурился:

— Далеко били? Цегой-то весь закоценел!

— Дивья, не мало и стояли, сани поломалися!— ответил Олекса, отводя глаза.

— Не эти ли?

— Ну-ко, старче, отдай!— прикрикнул Станята.— Кажному тут ротись[1] да божись!

И снова обошлось.

Обошлось и с новгородской сторóжей, те ничего не спросили, покосились только.

И вот уже сани выбежали на простор, и весь Господин Великий Новгород открылся вдруг, праздничный под весенним солнцем, от Антониева монастыря на той стороне Волхова, от Зверинца и до далекого, теряющегося в весенней дымке Юрьева. И пригородные церкви, и посады, и бревенчатая стена острога, над которой главы и кресты, и грозные белокаменные стены Детинца, и золотоглавая София, сердце Новгорода, в ней же Спас Все-

---

[1] Рóтиться, ходить роте — клясться.

держитель со сжатой десницей. И пока не разогнется рука, дотоле стоять Великому Новгороду, нерушимо.

Вот и башня въезжая. С нависших стрельниц волглой, почерневшей городни[1] капала вода. От каменной стены башни отделился воротный сторож — грелся на солнце, не торопясь, подошел второй. Поздоровались.

— Ай издалека?

— Из немцев!

— Цегой-то там раковорци, воевать не собралися?

— Да к тому идет!

— Вона, все в одно бают!

Воткнув копье в снег, бегло осмотрел воз:

— Товара не везешь ле? Мотри, какого зверя у князя украл! Шуткую... Проезжай, купечь!

Гулко протопотав в сводах ворот, выехали на Легощую. И пошли терема новгородские, вырезные крыльца, висячие сени, крутые чешуйчатые кровли, крытые дубовой дранью, серые и цветные: зеленые, голубые, красные,— на иных сверкала даже позолота,— наполовину уже освобожденные от снега, с бахромами сверкающих сосулек на мохнатых свесах крыш и потоках. Там и сям, в коричнево-сером море бревенчатых строений, розовели каменные стены церквей и боярских палат. Улица была по-весеннему полна народу; овчинные шубы нараспашь, круглые шапки с ярким верхом лихо сдвинуты на ухо, цветные платы широко открывают румяные лица. Ремесленники и купцы, жонки посадские, боярышни, в крытых алым сукном епанечках, в цветных, мягких тимовых[2] сапожках, мальчишки, со свистом стайками шныряющие под ногами, пока кто-нибудь из старших не шуганет расшалившихся озорников. Кто за делом, кто и без дела, гуляючи, ради ясного дня и солнца приветного. Ревниво сравнивал Олекса наметанным глазом наряды своих горожан с иноземными, немецкими. Родные были ярче, цветистей, богаче головные уборы женщин, больше багреца и черлени, восточного пестрого тканья.

Полозья саней, перескакивая через кучи оледенелого тающего снега, стучали по плахам тесовой мостовой, уже высыхающей кое-где на солнцепеке. Кони, ободрясь, тоже чуя конец пути, дружнее взяли.

— Гони!— прикрикнул купец, и расписные сани понеслись, виляя из стороны в сторону, скользя по снегу и колотясь по мостовой.— Гони!

---

[1] Горóдня — часть бревенчатой стены между двумя башнями.

[2] Тим — род сафьяна *(старин.)*.

Мужики и бабы, сторонясь от разбежавшихся лошадей, смеялись, бранились вслед:

— Ишь понесло купця!

— К цорту в пекло торописсе?

Какой-то широкоплечий плотник с толстым бревном на плече сделал движение, будто бросает бревно под ноги коням, те шарахнули вбок, почти вывернув купца из саней, хрястнув резным задком о бревенчатый уличный тын — огорожу. Едва удержался Олекса, ругнулся, но и озорной мужик не испортил радостного настроения, уж больно хороши были день, весна, Новгород!

Перед Детинцем придержали. Шагом въехали в каменную арку ворот, увенчанных старинной чудотворной иконой, прикрытой свинцовой кровелькой от дождя и снега; шагом проехали Пискуплю — мимо Владычного двора, посадничьих палат, складов, охраняемых владычной сторожей. Налево поднялась величавая стена Софии, перед которой оба обнажили головы, направо — соперничающий с нею собор Бориса и Глеба, имя строителя которого, Сотка Сытинича, за сто лет уже успело обрасти легендами.

— Правда, бают, Сотко гусляр был?— спросил Станята, задирая голову.

— Не,— отозвался Олекса, тоже любуясь собором,— кажись, боярин. Это поют-то про которого, так тот другой!

Богородицкими воротами с вознесенной над ними легкой, устремленной в голубое небо надвратной церковью спустились к реке.

Ослепительно синей от неба и снега на Волхове показалась родная Торговая сторона, «Торговый пол». Вот проехали Великий мост, вот заворотили к себе, на Славну. Мимо Ярославова дворища, мимо святого Николы, мимо Параскевы Пятницы, мимо Торга, мимо вечевых гриден, соборов, лавок, мимо Варяжского двора, мимо хором Нежилы, Страшка, Иванки — Иванко-то новые ворота поставил — гляди-ко!— мимо терема Якуна Сбыславича, мимо Хотеновой поварни. А вот уже там, за тем поворотом, и Олексин дом, отчий кров, родимое пепелище, свое, отцово, дедино.

Дедино!

Уже тому близко лет семидесяти, как дед Лука, разбогатев на соли, переехал из Русы в Новый Город, записался в городское «сто»[1] в Славенском конце, вступил

---

[1] Помимо деления на концы и улицы Новгород делился на «сотни», во главе которых стояли сотские старосты. Из числа сотских выбирался тысяцкий, в обязанности которого входил надзор над торговыми делами.

в братство заморских купцов, откупил усадьбу, поставил терем.

Отсюда, от того, первого, терема, начинается родной дом.

В том тереме на другой год по переезде родился у Луки Творимир, отец Олексы.

Отсюда уходил Лука в ратные и торговые пути, отсюда шел громить Мирошкиничей. Сюда, больной и разбитый, воротился он из переяславского плена, когда после Липицкого ратного дела выручил князь Мстислав полоняников новгородских, что остались в живых. Разом поседел Лука, потухли глаза, не стало зубов многих от переяславского сидения в голоде да в сырости душной ямы, среди трупов смрадного запаха. Погибли тогда двое сыновей у старого Луки, а Творимир чудом уцелел; пожалел отрока знакомец, гость переяславский, не выдал княжой чади, а утром вывел на зады, дал хлеба ломоть да перекрестил на дорогу...

Здесь горели раз и еще раз — до черного пепла. И был тогда родной дом одним лишь пепелищем, одною памятью живых. Но живые брались за топоры, но пепел пожара покрывала глина, а в глину врастали тугие смолистые венцы. И снова был дом. И даже резьба на воротах воскресала похожей из разу в раз.

И была измена дому. Памятной страшной зимой, похоронив сына, бежал отсюда Творимир с полумертвой Ульянией. Бежал потому, что умер Лука, потому, что кадь ржи стала двадцать гривен, а пшена — пятьдесят (а гривна — цена лошади, две гривны в хорошее-то время давали за боевого коня!). Бежал потому, что страшен был пустеющий город, заваленный трупами погибших от голода людей. Мертвецы лежали по улицам неприбранные. Одичалые псы грызли мертвых младенцев. Люди архиепископа не поспевали возить покойников. Поставили скудельницу[1] на Прусской улице, у церкви Святых Апостолов, и в ней сложили три тысячи душ; другую — на поле, в конце Чудинцевой, и в той трупов набралось без числа; и третью — за Святым Рождеством, и та скоро была полна. Простая чадь резала живых людей, обрезала мясо с трупов, ела конину, псину, кошек. Безумных ловили, жгли и убивали, но являлись новые человекоядцы. Иные ели мох, сосновую и липовую кору, лист. Голодные толпы громили боярские и купеческие дома,

---

[1] Скуде́льница — общее место погребения, общая могила. Ставились во время массовых бедствий.

искали спрятанную рожь. Соседи, родные — и те стали чужими друг другу, скрывая остатки плесневелого хлеба. Обезумевшие матери даром отдавали детей заморским гостям, чтобы только не слышать их плача, не видеть их смерти голодной...

Вот тогда, покинув дом, ушел Творимир с оставшимися детьми и женой из Новгорода. Сани тянули волоком, чуть не падая. Так добирались до Русы. В пути похоронили второго сына. Поседевшая Ульяния десять верст несла мертвого младенца — не хотела отдать.

В Русе, у старинного сябра[1] дедова, удалось достать коня, уехали в Плéсков[2].

Там тоже пришлось хлебнуть горя. Жили трудно. Ульяния ткала пóртна[3], малолетнюю Опросю по первости послали просить милостыню. Сына Тимофея удалось пристроить к серебрянику в ученики. Сам Творимир за что только не брался...

Там, во Плескове, узнал Творимир, что погорел весь Славенский конец — молодой приказчик Радько грамотку прислал — и что не стало у него крова в Новом Городе.

Водою немцы привезли жито в Новгород, но Творимир побоялся возвращаться, да и куда? Пережил он в Плескове и бегство Внезда Водовика и смену посадника. А когда пришла в Плесков Борисова чадь, изгнанный тысяцкий Борис Негочевич с соратниками (стали собирать своих, думали — на Новгород, ан пришлось и из Плескова бежать), чуть не ушел Творимир с ними в немцы, в Медвежью Голову. Крепко звал его тысяцкий Борис Негочевич. Задумался Творимир, да вспомнил новгородскую отчину... Страшно стало! Как там бояре еще? А ему, простому купцу, уж воля не своя, и речь чужая, немецкая, и всё там чужое. Понял, что — родина и нельзя уходить. Грозил ему тысяцкий, уговаривал — не помогло. Решился Творимир вернуться к себе на родное пепелище.

На последние куны в Плескове соль купили. Сюда вот и возвращались, на почернелое, пустое место. Радько рассказывал Олексе о том не один раз: привезли соль, а класть негде, ни двора, ни амбара, ничего. И людей никого — один верный Радько, отца и мать похоронив, остался, не изменил. Обнял его Творимир и зарыдал.

---

[1] Сябры́ — соседи, часто связанные общим хозяйством.
[2] Плéсков — древнее название Пскова.
[3] Пóртно — холст.

Соль была дорога в то лето, на соли кое-как и поправились...

Родной дом! Сколько же связано с тобой!

Здесь, в тот год, когда князем стал Олександр Ярославич, в новоотстроенном тереме родился Олекса.

Здесь он играл в бабки да в рюхи с мальчишками, бился на мечах деревянных; отсюда отроком малым совершил свой первый путь во Владимир.

Здесь зарывали серебро, молились и ждали смерти, когда на русские земли с юга надвинулась рать неведомая и окровавленный ратник на торгу сказывал горожанам беду, моля о помочи...

Пали Рязань, Коломна, Владимир. Иноплеменники ни для кого не делали различия: черные люди, бояре, иереи, монахи, князья, мужи, жонки, дети — все гибли равно под саблями и копытами коней. Бесславно легла на Сити рать великого князя владимирского. Пали Москва, Переяславль, Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь... Мало за сто верст не дошли злые татарские кони до Великого Новгорода. В феврале татары оступили Торжок. Две недели держался город, тщетно ожидая новгородской подмоги, и в марте пал. Татары иссекли всех мужиков и жонок, как траву. Затем Серегерским путем устремились к Новгороду. Дошли до Игнача креста, но бог и святая великая соборная церковь новгородская, София, заступились за свой город. Уже раскисали пути и болота набухали водой. Татары повернули назад.

Отсюда хмурый отец Олексы уходил, наточив меч, на рать, к Чудскому озеру. Здесь он молился, прослышав про чудо во Плескове (от иконы Спаса над гробом невинно убиенной в Медвежьей Голове княгини Ярославлей стало течь миро и наполнило четыре стеклянницы). Ужас охватил многих, кто еще тайно сочувствовал изменникам. И еще раз бога благодарил Творимир, что не поддался уговорам, не ушел в Медвежью Голову тогда. Падая на колени, творил горячую молитву перед иконой Спаса: «Господи, не попустил еси, не отринул отчины своея!»

Здесь шестнадцать лет назад веселым пламенем пылало отцово хоромное строение и все их тяжкими трудами нажитое добро. Старый Творимир кидался в огонь, а ничего не спас, обгорел только. Не перенес новой беды, сломался, заболел. Олекса же, посвистывая, сам взялся за топор,— не на что было нанять и плотников. Тогда и научился звонкому плотницкому делу. Кое-как поставили клеть на пепелище. Поставили, и ушел Олекса в свой первый поход — к Торопцу.

Сюда возвращался он из второго похода, с Наровы, и еще под городом узнал про смерть отца.

Тут он разделился с братом Тимофеем, не спорил, верил в себя. С детства все давалось легко, без думы, без натуги. Торговал, воевал, стоял и с князем и против князя. Тяжела была рука у Олександра, тяжела и для бояр и для купцов, а всего тяжелей для простой чади.

Стоять-то стояли против князя, а со многим пришлось согласиться потом. И тамгу татарскую приняли и десятину. Сам князь Олександр на том настоял и дань собрал татарам, будто свои стали чужие, а чужие — свои... Тут и не хочешь, а думать пришлось. Научился хмуриться Олекса, рука чаще — невольно — искала меча.

Время было неверное, мятежное, только поворачивайся.

В эту пору женился он. Жена была молода, по шестнадцатому году взял. Первый сын умер, мало и на руках подержать пришлось. Потом родилась дочь, Янька.

Через год ходил под Юрьев Олекса. Город взяли на щит, товара, богатства забрали бессчетно. Олекса сумел и свою долю увезти, да и у других приторговал дешево. Вернулся, и жена, Домаша, обрадовала — сына родила, Онфима.

С юрьевского похода побогател Олекса, легко пошел в гору. Богатство, оно, коли голова на плечах, само растет! Поставил новый терем рядом со старым, соединил переходами, пристраивал каждое лето хлева, амбары, стойла. Памятуя пожар, заводил амбары и за городом. А на вече и в гридне общинной стоял заодно со всеми, добивался, и добились — посадника своего, Михаила Федоровича. После смерти князя Олександра всего четыре года прошло, а гляди, снова зашевелились, стали и на князей покрикивать!

Теперь Ярослав Ярославич, брат Олександра, князем. Садился — крест целовал Новгороду. Поди, не по нраву пришлось! Двое их осталось, Ярославичей: Ярослав да Василий. Сам в Твери сидит, Василий — в Костроме, тоже на новгородский стол зарится. А в Новгороде, на Городце, за Ярослава — подручник его, князь Юрий, невеликая птица, без посадника навряд что и решит!

Да, не тот нынче Новгород, не тот князь, да не тот и Олекса! Не тот уже терем во дворе, и резное крыльцо, и сад, и яблони. А добра в амбарах — сукон, и шкур, и меда, и вин заморских! И серебро на черный день, и пóртна, и лен, и рожь, и пшеница! Коням ячмень засыпают, кони — поглядеть любо! Дом — полная чаша,

родной дом. Свой! Все тут свое, нажитое, добытое им самим, Олексой, добротное, прочное.

— Постой, Станятка, тише поезжай, переполошим всех.— Усмехнулся: — Не ждут, верно!

II

В доме и правда не ждали. Мать Ульяния, воротясь от обедни, отдав распоряжения по дому, обойдя двор и хлева, усадила Любаву и девок за кросна, а сама прошла на свою половину, села за шитье обетного воздуха в Ильинскую церковь. Уж третий год продолжала работу, а все не могла окончить, отвлекали дела. Домаша, накормив ребенка, тоже присела со свекровой за пяла, вышивала золотом плат. Яньку усадила рядом с маленькими пяльцами:

— Учись. Губу-то не дуй!

Старуха Полюжиха, вдова, двоюродница Ульянии, да девка Ховра вязали. Девка, деревенская, недавно взятая в няньки, сказывала:

— А еще у нас что было-то, жонку цорт унес! Парня одного женили, ну так насилу, насилу, и не залюбил жонку-то. А у его была сговоренка в той же деревенки, за ту батя не отдал. И вот он с той пошел по сена́...

— С кем, с той-то?— перебила Полюжиха.

— С жонкой со своей.

— Ну!

— Стог-то сметали, он и говорит, на жонку будто: «Цтоб тя нецистый увел!» И ей как вихорем подхватило, подхватило и унесло, и не стало жонки. Ну тут хвать, инде хвать, и нету. И женился на той, с которой дружил.

— Разрешил отец?

— А как уж жонки нету, тута стала воля своя!

— Ты, Полюжая, не сбивай девку. Поди, сказывай!

Домаша слушала молча, иногда взглядывая на маленькую Малушу, что, сопя, силилась посадить тряпочную куклу на деревянного коня, крепко прижимая ее и забавно всплескивая ручонками, когда кукла снова падала.

«Летом и мы на сенокос поедем!» — подумала Домаша. Замечталась, слушая, взгрустнулось что-то. Девка сказывала:

— Ну, вот он на тот год пошел с новой жонкой стога метать. Нецистый-то увидал, притворился вихорем и стог разметал у его. Сам пришел к жоны и говорит, хвастает: «Твой-то муж стог сметал, а я рознес!» — «А где-ка он?» — «А с новой жонкой стога мецет!» Она и стала

просить нецистого: «Покажи да покажи, где мой муж, Иванко, стога мецет?» Он ей на горку вызнел. «Смотри,— бает,— вон они!» — «А я,— отвецает,— плохо вижу цтой-то, спусти пониже».— «Там-то,— говорит,— трава цертополох, а я ее боюсь!»

— Ето верно,— поддакнула Полюжиха,— первое дело чертополох! Под зголовье положить али там в байны повесить — нечистый-то уж и не заходит!

— Ну ницего, жонка молитце ему: «Маленько-то пониже спусти!» Он спустил, она и скочила, полезла туда, в траву ету. Нецистый ее имáл, не мог поимать никак, портище всё с ее сóрвал только. Она и приползла к им туда ногушкóм. «Не пугайтесь,— говорит,— это я, Иван, твоя жона. Я,— говорит,— нага, дайте мне оболоцитьсе».— «Ты мне не нать,— говорит,— у меня друга жонка есть!»

— Вота какой!

— «Ницего,— говорит,— я вас не розведу, в монастырь уйду». Так ей и принели. Жонка та, другая, со себя рубаху ей отдала.

— И ушла в монастырь?

— Ушла. Покрова Богородицы монастырь, на Зверинци. Тамо постриглась.

— Бéдна!

— А уж побыла за нецистым, дак!

— Никак едут!— вдруг молвила Ульяния, отрываясь от шитья. И побелела, откинулась в кресле: — Олекса! Чуяло мое сердце!

Все побросали работу. Поднялся переполох.

— Онфимка, Онфимка где?— звала Домаша, непослушными пальцами накидывая епанечку. Янька кинулась стремглав за Онфимом.

— Ох, батюшки!

— Сына, сына возьми!— подтолкнула Домашу опомнившаяся Ульяния. Сама, прикрикнув на заметавшуюся девку, истово перекрестилась на иконы, вздохнула, неспешно двинулась встречать.

Олекса уже разворачивался во двор. Заскрипели, распахиваясь, створы ворот, метнулось радостно-испуганное лицо — сгоряча не узнал, кто такая,— заторопился, забилось сердце, и, пока вылезал, увидел, понял — весь дом уже на ногах.

Янька и Онфимка выскочили на крыльцо:

— Батя, батя!

Унеслись в дом. В сенях встретила прежде мать, ткнулась в грудь, всхлипнула.

— Радость у нас, Олекса!

Отступила седая, сияющая, строгая, повела очами на невестку, скрещивая руки. Домаша стояла вся трепетно подавшись вперед. Шагнул Олекса, бережно принял теплый живой сверток. Грудным, звенящим, срывающимся голосом подсказала:

— Сын, Олекса!— и тоже заплакала.

Олекса посмотрел на крохотное личико, большие бессмысленные глаза — тенью прошло воспоминание о первенце, умершем до года,— бережно отдал. Мать приняла ребенка. Обнял жену, огладил по голове и плечам загрубевшей рукой. Теперь дети. Они уже прыгали от нетерпения, ждали очереди: восьмилетняя Янька и шестилетний Онфим. Тут так и повисли на руках. Подросли!

— Ты, Янька, гляди, невестой скоро будешь!

— Онфима пора грамоте учить!— отозвалась мать.

— С сенами управимся, а там и за псалтырь, а?

— А я уже буквы знаю, ты мне, тятя, буквицу купи, а то Янька не дает свою!

— Всё деретесь? Ужо куплю!

Только четырехлетняя Малуша пряталась, забыла отца и теперь глядела боязливо. Подхватил и ее, поднял. Испугался вдруг: заплачет? Нет, нерешительно потрогала она курчавую бороду, улыбнулась, ручонками закрыла лицо.

— Ишь скромница!

Вступили в горницу. Уселись: сперва мать, потом Олекса, потом Домаша. Девка (отметил: новая, верно, для ребенка взяли) во все глаза — даже рот раскрыла,— заглядевшись на Олексу, приняла маленького, убежала в заднюю горницу.

— Как окрестили?

— Лукой, по деду. Тебя не дождались.

— Ин добро. Девка чья?

— Деревенская, Трофима, сапожника, сродственница.

— Трофимки... косого? А, знаю! Как звать-то?

— Ховрой.

— Ну зови Станяту ко столу! А там и в баню!

— Велеть?— привскочила Домаша.

— Вели,— отозвалась мать,— девок пошли...

Другое в это время на дворе. Любава, в кожаных выступках на босу ногу, помогает Станяте закатывать под навес сани, распрягать и заводить в конюшню лошадей, то и дело руками, будто нечаянно, натыкаясь на руки Станяты, бессовестно обжигая карими глазами.

— Соскучила без тебя, сил нет!

— Ну!— Станята хмурился и улыбался вместе.— Скажи, по Олексе разве!

— Станя!

Пятясь, потянула за рукав в конюшню, обвила руками за шею:

— Глупый! То когда уже было, глупый... Купец мой! (Знала, чем задеть.)

— Мне купечества видать, как свиньи неба.

— Будешь!

Тряхнула головой, так что звякнули серебряные кольца в волосах, притопнула твердыми выступками:

— Увидишь, сделаю!

Не удержался Станята, стиснул, так что кости затрещали.

— Хмель ты, чистый хмель! Иди, коней надо поставить. Баню нам сготовь!

— Сейчас!

Расхохоталась, убежала. Маленькая девка просунула носик в конюшню.

— Станята! Тебя хозяин ко столу кличет!

— Иду!

Закусили сижком, шаньгами, выпили по чаше домашнего меда. Похохатывая, перебивая друг друга, рассказывали, как свалили кабана. Жена, сияющая от каждого взгляда Олексы, стала прибирать со стола.

О серьезных делах Олекса пока не говорил. Тяжело дался этот путь! Колыванцы стали до того несговорчивы, что не на шутку задумался он: как дальше? А князю и горя мало. А посадник что думает? Свой ведь, с нашей, торговой стороны, Михаил Федорович. И терем его недалеко стоит, со сеней маковка видна.

Отпустив Станяту (Домаша, прибрав, тоже вышла), остался вдвоем с матерью за чашей с медом. Разом перестал хохотать, вдруг почувствовал, что устал с дороги, задумался. Исподволь, осторожно разглядывал мать: сдала, резче легли морщины у носа, запал рот, вся стала как словно суше... Никак и брови уже поседели? Вот уж у самого дети растут, а все не может представить Олекса, как будет жить без матери. Давно ли, кажется, уводила она его, обиженного, плачущего, за руку со двора, когда, бывало, в перекорах уличных стыдили соседи: «Чужим добром разжились! Лука-то ваш с Мирошкина разоренья только и поправился!»

Причесывая разлохмаченного, в перемазанной рубашонке меньшого своего, Ульяния вытирала ему подолом мокрый нос и, строго сводя брови, приговаривала:

— Собаки! Собаки и есть! Сами-то больно святы! Мирошкиничей разбивали, дак по три гривны на зуб всему Нову-городу разделили, и их не обошли небось! А по-

сле тех одних и запомнили, кто Мирошкин двор громил! Дедушко-то наш еще обгорел на пожаре!

И, прижав к себе маленького Олексу, успокаивая, рассказывала про деда: как в тот год, когда переехали в Новый Город, был конский мор, как бабка свое серебро: кóлты[1], и монисто, и браслеты киевской работы сканного дела — продала, и на все то Лука снаряжал ладьи до Раковора; как сам, надсаживаясь, таскал бревна на терем; как по совету деда Луки Творимир начинал торговлю с Корелой, ту, что Олекса и сейчас ведет...

— Дедушко Лука богатырь был. Никого не боялся, ни перед кем головы не клонил. И уважали его! — приговаривала Ульяния, поглаживая сына твердой суховатой рукой по светлой голове.

Затихая, силился Олекса представить себе деда — и не мог. Вспоминал большой дубовый крест на могиле...

И вечно она была седой, как помнил. Морщин только не было раньше. Эх, да и замечал разве? Мать как воздух. Пьешь его полной грудью, и думы нет, чтобы не хватило когда... Сидел Олекса, молчал, нарочно оттягивая время.

Прикидывал: к кому теперь? К брату Тимофею, серебряному весцу[2], первое дело. К тысяцкому. Это потом, тут разговор будет. К тестю Завиду — этого надо завтра звать на трапезу. Отца Герасима, конечно. Улыбнулся: отец Герасим и венчал, и отпускал грехи, и еще крестил Олексу, — без него уж не обходилось ни одно семейное торжество. К куму Якову, старому другу, книгочию...

— Максим Гюрятич в Нове-городе, мать?

Улыбнулся опять, вспоминая хитрого весельчака.

— Здесь. Неделю, как и прибыл. Тебя прошал!

Этого позвать обязательно, без него пир не в пир. Страхона, замочника. Кузнеца Дмитра. Горд — как же, староста! Может и заупрямиться, придется самому поклониться. Хотя... лонись, когда погорел — сильно погорели тогда, весь Неревский конец огонь взял без утечи, по воде ходил огонь, что было на судах, и то сгорело, — кто помог? Я же! Еще и должен мне о сю пору... Придет! Станяту пошлю на коне. Да и дело есть — поди, разнюхал уже, что свейское железо везу! Значит, Дмитра... Так перебирал в уме всех, кого надо пригласить.

Мать между тем, тоже налившая себе меду ради сыновья приезда, неспешно отпивая, сказывала:

---

[1] Кóлты — подвески к головному убору.

[2] Весéц — меняла. Серебро ходило в слитках, без клейма. При расплатах его всегда взвешивали.

— На масленой расторговались, датские сукна все вышли у Нездилки. Олфоромею Роготину заплатили полчетверти на десять кун, да Чупровым две гривны серебра дала с ногатой[1].

— Не дорого?

— Обещают шемаханского шелку, Домажир николи не омманывал! Корелы приезжали.

— Приезжали?

— Ну. Железо везти прошали. Я сказала: пусть обождут до тепла. Дешевле водой-то, чем горой. Им дала полтретья — десять кун; да ржи четыре коробьи, да берковец[2] соли. Грамотку написала, не бойся.

— Кто да кто?

— Гриша да Максимец, да третий с ними, новый кто-то.

— Иголай и Мелит, должно!

— Я ихни имена, некрещеные-то, беда, всё путаю.

— Добро.

Помолчали.

«Взрослый сын-то совсем,— удовлетворенно думает Ульяния.— Где только не побывал! В деда пошел, в Луку. Деловой. И в немцы ездит, и с Корелой торгует, и низовские города перевидал, почитай, все». Вот приехал, и хорошо Ульянии. Пускай так сидит, молчит, отдыхает. И ей на сердце спокойно, не болит, как давеча. Лицо-то красное, загрубело на ветру да на стуже. Устал. Ничего, в бане выпарится сейчас! Последний сын. Не думала уже, что будут, а вот народился! Кажется, никогда и мужа так не ждала, как его теперь... Все бы сидела рядом с ним, и говорить даже не нужно, все понятно и так. Теперь гостей созовет...

— Еще Якуна Вышатича пригласи, того нать!— подсказала Ульяния, угадав, о чем думает Олекса. Слишком хорошо понимали друг друга.

И еще на один вопрос, не заданный вслух, ответила погодя:

— Домашей я довольна, грех на нее жалитьце. И тебя ждала, убивалась. Не говорит, а вижу по ней. Сейчас-то

---

[1] Слово «к у́ н ы» обозначало и определенную денежную единицу и вообще деньги. Счет в Древней Руси велся на серебро. Основной денежной единицей была гривна — серебряный слиток. 1 гривна, 49,25 грамма серебра = 25 ногатам = 50 кунам = 100 векшам, или веверицам (белкам). В Новгороде была принята и новая гривна (197 граммов серебра), равная четырем старым («ветхим») гривнам. Мелкие деньги были кожаные.

[2] Б е р к о́ в е ц — десять пудов.

вся сияет, гляди-ко! Завид без тебя заходил раза четыре никак.

— Уже не гордитце?

— Куда! Переложил гнев на милость. Нынче: Олекса да Олекса, зять любимой да богоданной...

— Нынче сам в доле со мной. Как с Юрьевского похода поехали мы в гору, вот уж шестое лето в любимых я у его хожу!

— Сходи уж сам к Завиду, пригласи, обрадуется старик.— Ульяния рассмеялась неслышно, пояснила: — Даве мне кота принес, подарил. Черного. Что соболь! А бывало, в черквы встретит, не поклонитце. Сходи к старику.

Положила старые руки на столешницу. Помедлила. Вглядеться еще раз, досыта уж! Дедушка Лука помирал, говорил: «На тебя одну, Уля, дом оставляю!» А пора и устать, седьмой десяток на исходе... Поднялась:

— Ну, я пойду проведаю, баня-то готова, поди? Приготовлю тебе лопотинку переодетьце. К вечерне пойдешь?

— Пойду.

Мать вышла. Олекса еще раз осмотрелся, погладил лавку, ощутил ладонью щекотную сухость дерева. Обвел очами прочные тесаные стены, печь в изразцах, дорогие иконы, поставцы с обливной и кованой посудой, новинку, им самим привезенную, татарскую: сундук, мелко расписанный неведомым восточным хитрецом...

Сейчас забежит Домаша! Только подумал, полузакрыв глаза,— и уже забежала.

Коротко рассмеялся, встал легко, стряхнув набежавшую усталость:

— В баню пойду, припотели мы дорогой.

III

Парились на совесть. Хлестались вениками, поддавали квасом на каменку. Выскакивали, ошалев от жары, прямо по весеннему снегу бежали к проруби, окунались в ледяной кипяток — ух! Девки, что брали воду из Волхова, весенними шалыми глазами провожали раскаленных докрасна нагих мужиков. И — снова в хмельной, шибающий, невозможный пар полка.

Размякшие, довольные — сейчас и не понять, что один господин, а другой разве только не холоп обельный,— неторопливо одевались, разговаривая, и тут уже стала выясняться разница положений.

Станята натягивал порты добротные, но простые — серого домашнего сукна; Олекса — дорогого, чужезем-

ного. Станята надевал сорочку холстинную, Олекса — тонкого белого полотна. Сверх Олекса надел шелковую, шелку шемаханского, шитую цветными шелками и золотом; Станята — полотняную, с вышитой грудью.

Глянул Олекса — глаз был верный у купца,— оценил яркую праздничность веселого и крепкого, красного по белому шитья на рубахе Станяты. Пожалуй, и лучше, чем у него самого: просто, а эвон, издалека видать, и не спутается узор! Не утерпел:

— Мать вышивала?

— Не, Любашка поднесла, ее подарок!— небрежно бросил Станька и отвел глаза. Взглянул еще раз Олекса, хотел крякнуть — и ничего не сказал, занялся опояской.

Молча, посапывая, надел праздничный цветной зипун — такого Любашка не подарит! Кунью шубу, крытую вишневым сукном, с откинутым бобровым воротом, алую шапку с разрезом впереди и соболиной опушкой, зеленые, шитые шелками, рукавицы. Новая девка, посланная прибрать за мужиками, еще больше расширила глаза, увидав Олексу, изодетого в дорогие порты[1]...

Из бани, отдохнув, просохнув, выпив квасу домашнего (Ульяния мастерица была готовить квасы всякие: из листа, дробины, хлеба, медовый, морошковый, брусничный, клюквенный, весной из березового соку — не перечислить все-то враз!), отправился Олекса в церковь. Свою, Ильинскую.

Церковь была небольшая, чуть приземистая, тяжелая снаружи и очень уютная внутри, с алтарем, как бы вдвинутым в тело храма. Крепко сложено! Неровные широкие швы обмазки путаным узором обегали серовато-розовые глыбы плитняка и тонкие ряды плоского кирпича — плинфы. Узкие, расширенные кнаружи, чтобы забрать больше света, окна приветствовали Олексу блеском слюдяных оконниц. «Кровлю перекрыть надо,— хозяйственно подумал он, оглядывая храм,— купол-то хорошо позолотили, колькой год, а все как словно новый!»

Войдя, Олекса пробрался вперед, то и дело кивком головы раскланиваясь со знакомыми уличанами, перебрасываясь вполголоса то с тем, то с другим.

— Творимиричу!

— Как путь?

— С удачей?

— Ничего, спасибо! Бог миловал!

---

[1] Порты́ — платье, одежда вообще.

Став на свое место, он перекрестился, обвел взглядом простые некрашеные тябла иконостаса, строгие лики икон, знакомые с детства и потому дорогие, не утерпев, глянул вкось, в толпу молящихся жонок, поймал нечаянный взгляд Таньи, Домашиной сестры, чуть заметно кивнул и тотчас отвел глаза: заметят старухи, наговорят с три короба...

Отстояв службу, подошел к отцу Герасиму под благословение и после уставного «Во имя отца и сына и святого духа» с удовольствием услышал:

— С приездом, Олексе Творимиричу!

— Спасибо, батюшка! Соблаговоли ко мне завтра на стол!

Отец Герасим кивнул согласно, много говорить в храме было неудобно.

Из церкви пошел к тестю. Долго стучал у ворот — и днем запирается! Псы заливались во дворе. Наконец послышалось:

— Кто таков?

Усмехаясь, ответил:

— Зять, Олекса!

В минуту распахнулись ворота, сам Завид, исправляя неловкость прислуги, вышел на крыльцо, охая, качая головой; сделал движение подхватить Олексу под руку. Олекса только бровью повел.

Зашли в горницу. И сразу, за медом, не утерпел Завид:

— Ну как? С товаром?

Олекса уж третий год возит сукна Завиду. Нынче и сам начал приторговывать — через Нездила. За многое брался. А Завид стар, жаден, да уже и под уклон пошел, не уследит за всеми изменениями цен, дело начинает плыть у него мимо рук...

От Завида — к брату, Тимофею. Тот встретил по обычаю хмуро, пожаловался на болезнь. Посидели. Будто и не рад брат, а все ж таки всего двое их осталось от всей семьи, сестра не в счет, у той воля не своя, мужева. Всего двое. И хоронил Творимира не Олекса, а Тимофей, вечно хворый, вечно недовольный, хоть и бо́льшую долю получил в наследстве, хоть и не ездит, не рискует, как Олекса, а дома сидит — все-таки брат! Сердится, что мать у него живет, у Олексы...

Тимофеиха внесла кувшин и серебряные чарки.

— Ты мое заможешь ли пить? Поди, Фовра, меду принеси!

— Ницего, замогу! На корешке настояно... Словно на калган отдает.

— Он и есть. Вот заболеешь... Не скоро ты еще заболеешь! — вдруг рассердился невесть с чего Тимофей. Дергая себя за узкую бороду, глядя вбок, сказал резко:
— Серебро свесить я тебе могу, а только вперед говорю, Олекса: ты брось сам свейские куны обрезать![1] Мне за тебя сором принимать невместно! Отца не позорь, мать — с нею живешь! Приноси мне, я обрежу. Не хочешь — к Дроциле, Кирьяку, Позвизду. Тому верить можно.

— Ну что ты, брат, чем в чужой-то карман... Не чужие мы с тобой! Да я тебе завсегда верю! — растерялся Олекса, уличенный Тимофеем. Покраснел густо: «Нечистый попутал меня в тот раз, и ведь помнит же!»

— Ну, а веришь, так слушай! — буркнул Тимофей, отходя.— Серебро свешу. Скоро ли нать?

Олекса сказал. Помолчал Тимофей, подумал, по-отцовски пожевал губами, кивнул согласно. Поднялись.

— Завтра буду. Только знаешь, я пива не пью, нутренная у меня.

— Знаю, мать уж для тебя постараетце.

— Ну, прощай! Спасибо, зашел!

Все ж таки обрадовался брат, хоть и виду не показал.

Дома сели ужинать своей семьей. Станяту и остальных ради такого дня позвал к столу. Завтра с именитыми гостями уж не посадишь, а обижать, величаться тоже не хотел Олекса. Был он и сам прост, да и расчет имел свой, торговый: пускай там бояре по-своему, мы — люди посадские, мы и на вече и в сече — со всеми!

Подавали на этот раз Любава и новая девка. Мать с Домашей сидели за столом. Мужики по одну сторону, бабы — по другую. Во главе стола мать, Ульяния. Домаша напротив Олексы, разрумянившаяся, с потемневшими глазами. Хороша! Сейчас лицом похожа на ту, шестнадцатилетнюю, что впервые увидал холостой Олекса в Никольском соборе, на всенощной, десять годов назад.

Как они тогда, молодые, только-только расторговавшиеся купцы стояли двоима с Максимкой, поталкивая друг друга плечами, да искали красавиц, вполуха слушая службу. Щурился Олекса, поводя очами по ряду склоненных голов, подмигивал вспыхивающим молодкам и девкам, что отворачивались стыдливо и нехотя, и вдруг как огнем полыхнуло из-под темного плата: огромные глаза в длинных ресницах на бело-румяном лице, и бро-

---

[1] Иностранные серебряные монеты взвешивали и обрезали с краев лишнее (сверх принятого веса) серебро.

ви блестящие, соболиные, и нос, чуть вздернутый. Закусила губу, чтоб не улыбнуться, зубы — саженый жемчуг. А глаза-то, глаза! Море синее! Наверно, тоже жарким румянцем залило лицо, постоял, боясь вздохнуть, распрямляя плечи, охорашиваясь, и тряхнул кудрями, и, крестясь, чуть тронул кудреватую бородку свою, и глянул опять. И увидел: в тот же миг оглянулась и она, и вновь как полыхнуло синим огнем, и опять, закусив губу, едва сдержала улыбку.

Толкнул под бок Максимку — тогда Максимка, а нынче Максим Гюрятич, а все такой же!

— Кто? Которая? Завижая Домаша, купца Завида, суконника, дочь. Тут отступи, не досягнешь!

— А может, и досягну?

Не встречал по весне в хороводах, ни на беседах зимой, не ловил в сенокосную пору в толпе хохочущих девок, не стерег на купанье — подглядеть нагую, не шутил у колодца, не кланялся в торгу. Осенними темными вечерами не ожидал у тесовых ворот: не стукнет ли пятою избная дверь, не простучат ли дробно легкие шажки по лавникам от крыльца до калитки.

Но с той легкостью, с какой кидался в рискованные торговые обороты,— удачлив был не умом, сердцем знал, когда надо рискнуть (до того три дня, подавляя вспыхивающий восторг, ходил по дому, постукивая каблуками, и как летал),— решился вдруг и разом ударил челом самому тысяцкому:

— Сватай!

Боязнь была: не захочет вспомнить Жирослав. Вспомнил, помянул старого Творимира. Обязан был покойному по плесковскому делу, тут и расплатился с сыном. А уж сам тысяцкий сватом — не посмел отказать Завид. Мать всплакнула, благословляя... Удачлив, во всем удачлив Олекса!

А там уж и сборы свадебные, сиденья невестински.

И как он тогда с подарками, принаряженный, приходил, а Домаша глядела на него удивленно-испуганно. Ждала ли, чем кончится девичья шалость за всенощной? Принимала дары, вздрагивая ресницами, губы приоткрыты по-детски, а девушки пели:

Он куницами, лисицами обвесилсе,
Да вкруг каленыма стрелами обтыкалсе.
Он тугим лучком да подпираитце,
Он ко кажному ко терему привяртывает,
Да он ко кажному окошецку припадывает...

И краснела, заливаясь нежно-алым, а потом и темно-алым румянцем, когда допевали:

Да цтой белое лицо да у девичи,
Будто белой снег да на улицы.
Да я возьму ту тебя да красна девичя.
Да я возьму ту тебя да за себя взамуж!

А потом — отводные столы у Завида, и рыданья Домаши, и подарки, и хлебы... Чара идет по кругу: отпивая, каждый кладет в чару серебро.

На солнечном всходе на угре-е-еви,
Да стоит белая береза кудрева-а-ата,
Да мимо ту белу березу кудрева-а-ату,
Да туда нету ни пути, нет ни доро-о-ожки,
Да нет-то ни широкой, ни пешой, ни проезжо-о-ой.

Прощальная. Не хочешь, а зарыдаешь! Плачет Домаша, и, не давая упасть высокому чистому звуку, еще выше забирают стройные голоса жонок-песельниц:

Да цтой-то серы гуси летят, да не гогочут,
Да белы лебеди летят, оне не кичут,
Да один млад соловей да распевает,
Да он-то над батюшков двор да надлетает,
Да он-то Домашице надзолушку давает...

Оттуда — в церковь. И вот уже приводные столы в тесном отцовом, выстроенном после пожара тереме. Хмелем и житом осыпают молодых у входа. Кусают хлеб — кто больше, едят кашу крутую... Стены трещали, как гулял Олекса, и громко славил молодого хор:

Выбегало-вылетало тридцать три корабля
Из-за Ду́най!
Еще нос, корма да по-звериному,
Шой бока-то зведены по-туриному
Ище хобот-от мецет по-змеиному.
Как на том корабли да удалой молодец,
Удалой молодец да первобрачный князь,
Он строгал стружки да кипарис-дерева,
Уронил с руки да свой злацен перстень.

— Удачи тебе, Олекса! Жить, богатеть, бога славить и нас, Великий Новгород!

Уж вы слуги, вы слуги, слуги верные мои,
Слуги верные мои да удалые молодцы,
Вы кинайте, бросайте шелковые невода,
Вы имайте, ловите мой злацен перстень!
Они первый раз ловили — не выловили,
Они другой раз ловили — и нет как нет,
Они третий раз ловили — повыловили,
Цтой повыловили только три окуня,
Цтой три окуня да златоперыя.
Ище первый-от окунь — гривна серебра,
Цтой второму-то цена — гривна золота.
Ище третьему-то окуню цены-то ему нет...

— Держи, Олекса, не выпускай, дорогую куну словил, купец!

> ...Только есть ему цена во Нове-городи,
> Во Нове-городи, во Славенском конци,
> Во Славенском конци, в Творимировом дому,
> В Творимировом дому у Олексы в терему!

Плохо помнит Олекса первую ночь с Домашей, зато хорошо — как впервые посадил жену учиться счету и разной торговой премудрости. Богат был старый Завид и жаден, да глуп. Только-то и умела Домаша писать да читать по складам. А ведь купеческая жонка! Ну как, ежели без мужа, товар принять? Тряхнул кудрями Олекса, долго не думал, сам взялся за дело. Сидел рядом, чувствуя теплое плечо жены, объяснял терпеливо, сколько серебра в марках да ливских фунтах.

— Вот, к примеру сказать, купил я пятьдесят поставов сукна в Колывани[1], пускай по пять марок четыре ферднига, да сельдей бочек хоть с двадцать. Тута пиши! Да соли немецкой полтретья берковца. Теперича сочтико, как мне его дешевле провезти? Первое: водою до Котлинга, от Котлинга до Ладоги, от Ладоги сюда. Тута сосчитай ладейнику, за перевалку, по порогам кормчему пол-окорока — это три марки кун. Либо по Луге да волоком в Кибу, а тамо Мшагою, Шелонью и по Ильмерю. А то, может, горою, по зимнему пути? Горою — повозникам, да кормного на лошадей ветхими кунами тринадесять резан. Ладейное, повозное, мытное, княжую виру — не забудь. За провес прикинь. То все помнить надоть. Записала? Дай-ко! Ну! Ладейнику много поставила, скинь ногату. Вишь, ладья-то больше подымает, дак не один наш товар возьмет, и плата не с одного. Теперича считай все на серебро. Сколь будет, тута запиши и сложи потом.

Отстраняясь, он ждал, глядя, как Домаша, шепча про себя, медленно выводила буквы цифири.

— Сочла? Дай гляну.

Проверяя, обнял податливые Домашины плечи. Она подняла взволнованное лицо.

— Получается у меня, Олекса?

— Получается, голубка моя!

Крепко поцеловал в подставленные сочные губы, встал, прошелся по горнице. Домаша опять склонилась над рукописанием, повернув к нему русый затылок. Ви-

---

[1] Колыва́нь — современный Таллинн. Город Ганзейского союза, соперничавший с Новгородом. Принадлежал Дании, позднее Ливонскому рыцарскому ордену.

дел, заходя сбоку, как покорно она шевелит губами... «И зачем жонкам добре грамоте розуметь? — мелькнула грешная мысль.— А что? — одернул сам себя.— Лучше добро считать да беречь будет! Да и детям способнее с нею тогда». Детям... Детей ныне четверо! А в ту пору только еще первенца ожидали.

— Олекса, а не дешевле станет сельди на Готском дворе купить? — робко спросила Домаша, подымая на него трепетные синие глаза.

Да, кажись, это и спросила, про сельди. Дешевле, верно! Немцы в одном Гостинополье платят, да повозникам. От них по дворам вразнос торговать, и то прибыль. Умница ты, жонка моя!

Ну, а Любава... та что ж... по грехам нашим... Об этом одному отцу Герасиму на духу... Да теперича вот со Станятой повелась, и грех прикрыт!

Пьет Олекса густое пиво домашнее, закусывает калачом пшеничным. Глядит Олекса в сияющее лицо жены. Была тоненькая сначала, а после первого ребенка, того, покойного, и ростом стала выше, и в плечах и в бедрах раздалась, налилась женским дородством и красотою. А губы и сейчас полураскрыты, как тогда, у девочки, и такие же распахнутые ресницы вздрагивают.

Ужинали сытно, мед и пиво пили без береженья.

Слегка захмелев, Олекса прошел в изложницу. Ждал, волнуясь, скинув зипун, распустив пояс. Домаша ходила, отдавая приказания, знала, что ждет. Вот взялась за дугу двери, взошла.

— Иди!

Сняла сапоги, низко наклоняясь округлившейся от молока грудью, разув мужа, распрямилась, обволакивая взглядом, медленно развязывая повойник, вынимая серьги из ушей, распуская опояску... Зардевшись, помедлила. Не вытерпел, встал...

— Постой! — прошептала, осекшись.— Стесняюсь, отвыкла...

Вдруг разом скинула саян. Задрожавшими пальцами он срывал с нее рубаху, она не противилась, только крепче охватывала его шею полными руками, зарываясь лицом в бороду. (Всегда стеснялась, когда разглядывал муж, даже в лампадном полумраке изложницы.) На руках, тяжелую, отнес на постель, гладил груди, из которых каплями сочилось молоко, тискал, сжимал, целовал в шею, в сочные горячие губы, чувствуя тот же трепет и жар в сильном, истосковавшемся теле жены.

Нет, не зря тогда решился купец сватать Завидову дочь!

Отдыхая, лежал на спине Олекса. Домаша, прильнув, ласкалась, гладила по лицу, расчесывала волосы, пропуская между пальцев. Полузакрыв глаза, наслаждался.

— Квасу подай.

— Сейчас!

Не стесняясь уже, она вскочила, нагая, желанная, легко, как девочка, перебежала к поставцу и, пока пил, роняя на колени холодные капли, опустилась на мохнатую медвежью шкуру, охватила, прижалась головой, грудью, всем телом. Только выдохнул, откинул ковшик прямо на медведину, схватил Домашу под мышки, румяную, счастливую, поднял... Уложил на постель бережно, натягивая сбитое в ноги шубное одеяло. Прошептала, не раскрывая глаз:

— Ладо, родной!

Провел медленно, от шеи вдоль спины, чувствуя, как тает под рукой, приникая к нему, пышное горячее тело жены.

Своя, вся своя. Дома... в своем дому... «А завтра и возы придут!» — вспомнилось для чего-то, и тоже стало хорошо. И с тем заснул.

IV

Ночь уже сломилась, и в слюдяном оконце забрезжило холодом ранней зари. Спал, не слышал Олекса, как тихо, бережно, стараясь не будить, поднялась Домаша, надела рубаху — выходила кормить ребенка,— как снова легла, прижимаясь, только во сне крепче обнял ее, ощутив под рукой. Не слыхал, как встала на заре распорядиться по хозяйству и укутывала его мохнатым шубным одеялом.

Проснулся от крика петуха под окном. Мотнул головой и чуть полежал, улыбаясь, вспоминая давешнее. Потом решительно вскочил, потянулся с хрустом, поведя плечами; босыми ногами соступил со шкуры и прошелся, ежась, по полу.

— Эй, кто там!

Тотчас прибежала Любава с тяжелой кленовой лоханью. Весело, чуя, как играет кровь, и весь полный еще истомой ночи, шлепнул по спине, рука озорно сама проехалась ниже.

— Ну как, Станька хорош доехал?

— Да уж не худ!— сверкнула глазами (тоже, шалая, помнит!), вильнула бедрами, не то скидывая руку Олексы, не то...

— Эх, Любава!— взял за основание косы, отогнул голову назад...

— Не,— полузакрыв глаза, выдохнула с хрипотцой.— Не замай... Ну...— и скороговоркой: — Домашка твоя идет!

Заслышав шаги жены, Олекса легонько шлепнул Любаву по заду и тотчас, подняв глаза, увидел Домашины сведенные брови.

— Поди, сама справлюсь!— жестко бросила она.

Любава змеей скользнула из комнаты.

Мылся Олекса не спеша, фыркал нарочито громко, пряча виноватые глаза; растирал грудь, шею и плечи, чувствуя, как у Домаши, лившей воду, дрожали руки. Прикидывал — видала ай нет?

«Неужто и теперь с ней?!— думала Домаша, с отчаянием и почти с ненавистью глядя на кудрявую голову Олексы.— Сына родила! Приехать не успел!»

Крепко вытершись альняным рушником, Олекса накинул поданную женой свежую рубаху — взамен мятой, ночной — простую, белую, с шитьем. Так ходил по дому. Было полуобнял Домашу.

— Оставь!— круто повернулась, не вышла, а выбежала из покоя.

Усмехнулся Олекса смущенно, опоясался плетеным пояском. Дворовая девка, Оленица, зашла подтереть пол, натужась, унесла лохань. Расчесал волосы Олекса костяным гребнем, еще раз усмехнулся, тряхнул головой, надел чулки вязаные, узорчатые, и так, в чулках, пошел к матери, на ту половину.

Прошел висячим переходом, глянул в мелкоплетеные окошки цветной слюды: в одну сторону — улица, кровли теремов, верхи Ильинской церкви над ними (птиц-то, птиц! весна), в другую — свой двор, сад. Увидел парня, слезающего с коня,— никак свой, из обоза? Но не стал ворочаться: к матери шел.

Ульяния еще стояла на молитве, не обернулась. В горнице было натоплено по-зимнему, жарко. Большие образа серьезно глядели и в трепещущем огне лампадок, казалось, поводили очами, слушая беззвучную молитву матери. Опустился на колени Олекса, чуть позади. Вздохнул, сложил два перста, стал креститься.

—...Отврати лице твое от грех моих и вся беззакония моя очисти, сердце чисто созижди во мне, боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отверзи мене от лица твоего и духа твоего святаго не отними от мене...— произносила Ульяния одними губами. Не услышал, скорее догадался: о прибытии молится.

Окончив молитву, благословила сына, поцеловала в лоб, примолвила строго:

— Домашу не обижай!

Потупился Олекса: и не знала, а узнала — мать.

Не ведал, что Домаша в это время, поднявшись по крутой лесенке в холодную светелку — не увидел бы кто из девок,— уродуя губы и вздрагивая, сидела над ларцом своим, перебирая бусы, колтки, мониста, памятки, милые сердцу, и драгоценности, без мысли откладывая свое, домашнее, от дареного Олексой. Рука наткнулась на потемневшие свитки бересты — письма. Наудачу развернула одно — с трудом: береста слежалась, не хотела раскатываться, стала читать, шевеля губами:

— «Поклон от Олексы к Домаше. Пришлить лошак с Нездилом, да вдай ему гривну серебра собою, прошай у матери. Поедуть дружина, Савина чадь. Я на Ярославли, добр, здоров и с Радьком...» Добр, здоров! Ожидала, честь свою берегла, всё для него!

Упала головой на бересто, зарыдала уже не сдерживаясь.

Ничего этого не знал, не ведал Олекса, выходя из материной горницы. Прошел опять переходами, в сенях встретил гонца. У парня прыгали губы:

— Возы остановили! Виру дикую берут со всех повозников...

Он назвал — сколько, и разом поплыло в глазах у Олексы.

— Кто?

— Клуксовичи, Ратиборова чадь, по князеву слову, бают.

Ослепнув от ярости, рванул рубаху:

— Грабеж!

Перед глазами встало красивое, наглое лицо боярина Ратибора, Ярославова прихвостня. Чувствуя бессилие и оттого ярея еще больше:

— Злодей! Тать! Кровопиец! Аспид!

(Не то про боярина, не то про самого князя.)

Кинулся в горницу...

— Где мать? Жена?! Воззри, господи! Аз, не ведая сна, не вкушая, сбираю... Ты ли... ты ли... Вскую, господи! Яко тати нощные... пия кровь человеческу, разоряя на ны, грешныя... Казни, казни! Не лицезреть мне очи ликоствующих, ни уста злобствующих... Аз ли не страдах! Ни в трудах, ни в воздаяниях не оскудевает десница... Люди добрые, помогите мне на злодея этого!

Опомнясь, повернулся круто:

— Ты тута еще?!

Парень стоял переминаясь.

— Радько велел... велел...

— Цто велел?!

— Вота, бересто послал.

— Дай, дурак! Пошел!

Грамотка прыгала в руках, и потому медленно разбирал второпях нацарапанные, кривые буквы:

«От Радька Олексе. Клуксовичи поимале на возех виру дикую, и про то Седлилка роскаже. Буде сам и с кунами не умедлив. А цто свеиске возы поворотили еси Неревский конець Зверинцю, и том кланяюся».

Медленно доходил до Олексы смысл письма, и по мере того отчаяние вытесняла бурная радость. Ай да Радько! Главное спас! Ну, умен!

— Мать, жена, бога молите за Радька нашего!.. Коня!

Стрелой промчались два вершника, Олекса и Станята, едва успевший опоясаться и натянуть сапоги, мимо складов, мимо торга, вверх по Рагатице, к городским воротам, выручать задержанный обоз.

Уже ближе к полудню, когда привели возы и купеческий двор наполнился толпой повозничан — сверх платы им выкатили бочку пива, и сейчас повозники шумно гуляли,— взмокший, измазанный и снова веселый Олекса шепнул Радьку:

— Ну, сколько же мы потеряли все ж таки?

— Постой, Олекса, пойдем в горницу!

Уселись, глаза в глаза. Радько сощурился, расправил желтую бороду в потоках седины, пустил улыбку в каменные морщины обветренного до черноты лица.

— Значит, так. Возы я повернул к Зверину монастырю. Железо продадим за городом, тамо и домницы ихние, а уж кому надо, опосле, без повозного, завезут в Неревский конец (кому надо — Дмитру). А виру берут со всех, так и в торгу дороже стало, я узнавал. Тут мы, что потеряли на сукне да протчем, то и выручим, самое худо, ежели полугривны недостанет. А коли боярин Жирох железо купит, с него можно теперя и лихву взять! Вот как.

Уперся руками в расставленные колени, еще больше сощурился Радько, глаза утонули в хитрых морщинах.

Молчал, потупясь, Олекса. Сопел. После встал и торжественно поклонился в ноги:

— Ты мне в отца место!

Взошла мать, та все знала уже. Своими руками с поклоном поднесла чашу Радьку.

— Спасибо тебе, Ульяния!

Радько выпил, обтер усы тыльной стороной ладони.

— Закусить не желаешь ли? И баня готова, поди отдохни. Олекса доурядит с повозниками.

— Спасибо, пожалуй, пойду, ты доуправься, Олекса!

Легко, с шутками, играючи, щурясь — не заметишь, как и недодаст,— рассчитывал Олекса мужиков. В этом он был мастер, Радька за пояс затыкал. Зато сперва всегда норовил угостить пивом... Под конец даже руки поднял:

— Ну, мужики, чист, как на духу, перед вами! Не обессудьте потом!

— Ладно, купечь, и обманул, не спросим!

— Живи, богатей!

Докончив с повозниками, стал раздавать подарки Олекса, не забыл никого, даже новой девке и той досталось на рукава. Государыне матери, Ульянии,— ипского сукна, волоченого золота и серебра, чудского янтарю. Жене, Домаше, особый подарок — ларец немецкой работы. Открыл замок — ахнули девки, Любава поджала губы. Достал веницейское зеркало в серебряной иноземной оправе, взглянул мельком с удовольствием, прищурясь, в блестящее стекло: волнистая бородка, волосы кудрявятся. Повел темной бровью: на красном от весеннего загара лице особенно ярки голубые глаза,— подал с поклоном. Зарозовела Домаша, приняла подарок, потупясь, ушла. Переглянулся с матерью, неспешно вышел следом.

Глядь — зеркало на столе, Домаша в дальнем углу. Подошел.

— Любаве отдай! В монастырь хочу идти, Олекса.

— От детей?

— От тебя.

— Слушай, Домаша! Быль молодцу не укор, а тебя я не отдам никому, не продам за все сокровища земные. Мне за тебя заплатить мало станет жизни человеческой. Лебедь белая! Краса ненаглядная, северное солнышко мое! Вишь, я обозы бросил, к тебе прилетел? Мне и в далекой земле надо знать, что ты ждешь и приветишь. А про то все и думать пустое, суета одна!

Положил руки на плечи,— уперлась, потом обернулась, припала на грудь.

— Ох, трудно с тобою, Олекса! И без тебя трудно. Пристают ко мне...

— Кто?!

— Пустое... Так сказала... Ну идем, ино еще поживем до монастыря-то!

Рассмеялась, смахнула слезы. Глянула, проходя в дареное иноземное зеркало.

Все-таки ловок Олекса, удачлив во всем, все ему сходит с рук!

V

К приезду гостей Олекса переоделся. Взял было алую рубаху — любил звонкий красный цвет,— Домаша отсоветовала: «Не ко глазам». Нравились светлые голубые глаза Олексины.

— По тебе, так мне в холщовой рубахе ходить, как на покосе!

— И с синей вышивкой!

Однако алую отложил, вздохнув, выбрал белую полотняную с красным шитьем. Вспомнил рубаху Станяты, Любавин дар, нахмурился, отложил и эту. Взял другую, шитую синим шелком, порты темно-зеленого сукна, сапоги надел червчатые, мягкие, щегольские, дорогой атласный зипун. Прошелся соколком, постукивая высокими каблуками алых востроносых сапогов, поворотился:

— Хорош ли?

— Седь-ко!

Домаша любовно расчесала волосы, слегка ударила по затылку:

— Топерича хорош!

Вскоре начали собираться. Гости входили, кто чинно, кто шумно. Максим Гюрятич — этот всех шумнее. Обнялись, расцеловались, оглядели друг друга с удовольствием. Максим потемнее волосом да покруглее станом.

— Толстеешь, брате!

— Да и ты вроде не тонее стал?

Максим повел долговатым хитрым носом, кинул глазами врозь, как умел только он — будто сразу в две стороны поглядел.

— Слух есть, обоз твой дорогою ся укоротил?

Он расставил руки, показывая длину обоза: вез, вез,— и, уменьшая расстояние, вдруг сложил дулю, дулей ткнул Олексу в живот и захохотал.

— Ну ты...— засмущался Олекса,— потише!

Но сам подхохотнул, довольный:

— Не я, Радько!

— Я бы за Радька твоего двух лавок с товаром не пожалел!

— А что, Радько у него и дороже стоит!— сказал, подходя, Олфоромей Роготин.— Ты, Максим, расскажи, как нынче немца вез на торг! Не слыхал, Олекса?

— Откуда, я вчера и сам-то прибыл!

— Ну, брат, дело было! Я ведь мало не пропал нынче, обидели меня раковорцы вконец!

— Да и не тебя одного, всех! Заяли Нарову, да и на́ поди!

— Всех-то всех, да думать надоть. Вот Лунько мне и по сю пору гривну серебра отдать не может, так я ему простил, мне мой немец топерича все вернет, с прибытком! А спервоначалу-то и мне не до смеха стало. Повозникам плати, за перевалку плати, другое-третье плати, да раковорцам, да морской провоз, да подати... Привез ему, не берет немец: у тебя товар подмоченный! Я: Христос с тобой, у тебя датчане и не такой еще брали! Связку ему, сорок соболей, каких! «Я шессный немецкий купец!» Ну, купецкая честность, известно, хуже мирской татьбы, я ему вторые сорок... Уж на третьей только уломал, да еще с меня провозное, да мытное, да ладейное. Ну ладно, ты все то возьми да дай цену! Нет, и цены не дал, нипочем взял товар, мало не раздел догола. Ладно, думаю, так оставить — хозяйка из дому прогонит. Я туда-сюда, разнюхал, что он меха уже продал датчанам, сукна набрал, хочет сам в Новгород товар везти, к зимнему меховому торгу ладитце. Я к повозникам: дружья, братья, товарищи, выручайте! Ну, конечно, тута меня совсем раздели, по-свойски, стало стыд горстью забирать да дыру долонью закрывать... Однако — ударили по рукам, везу купца своим повозом. Сам хоронюсь, Сменка ему выслал. Бреду за последним возом в худой лопотиночке, в лапотках, братцы! Калика перехожая, да и толь. Ништо! Тихонечко везу немца, берегу, через кажную речку возы поодинке переводим... Ему нейметце, торг-то отойдет, скорее нать!

Можно. Ну, раз в воду провалились, там — в снег, там — под горку,— всю кладь разнесло. А что с кого, законы я знаю, так подвожу — всё по его вине; купцу убыток, а повозник тому не причинен. Под Саблей покажись ему, будто нечаянно, говорю: в Волхово, напоследи, и вовсе утопим! Мой немец меня признал, куда кинутьце? «Мне эти повозники не нать, нать других!» Других? Ладно. Тараха послал договариватьце.

— Тарашку?

— Его.

— Ловок, ох, ловок!

— Ну. Тот: мне-ста от рубежа везти, а тут невыгодно станет. Немец мой ему разницу платит. Я этой разницей мало не все, что повозники с меня сняли, покрыл. Повеселее стало.

— Ну, Тарах-то довез?

— Стой, не скоро! Тарах его татьбой напугал. Кругом-то везет, через Волхово переволок да мене-то опеть и кажет: «Главный тать! Купец был, да разорили его немцы. Знаем, что татьбой живет, а взеть не можем, пóслуха не сыскать! Откупись, купец!» Ну, взял я с него своих соболей. Вестимо, не сам и торговал, тоже люди мои, а я будто и не знаю. Тарашка его возил-возил да напоследи коней выпряг и сам утек,— тоже тать будто, а меня оговорил понапрасну. Тут я опеть покажись, уж гуньку изодел, во своем наряде,— спасать купца. Зла, говорю, не помню, а заплатить надо, лошадям-то овес нать, снегу не заедят!

В Новгород довез, а уж меховой торг отбыл, опозднился мой немец. Говорю: ты честный купец, а я тоже честный, у меня меха без обману. Ну, и взял с него, конечно, да напоследях таких соболей да куниц приволок — он и глаза отворил. В долг набрал! Возьмешь, говорит, на мне опосле.

— Все ж таки отдал ему?

— А что, совсем-то не стал губить немца. Не приедет, я кому продам? Да и сам не останний раз в Колывани. Всю-то овчинку с волка нашего не спустил, постриг только малость. Да и с долгом-то он вперед сговорчивее будет! Сидит сейчас, словно мышь в углу, воск колупает.

Ну, я это возвращаюсь, а Лунько ко мне: «Помилуй, раковорцы вконец обобрали, гривны не набрал!» — «Ну,— говорю,— мне на тебя роте не ходить, не ябедничать стать! Коней верни, да долю дашь через лето, а что долгу твоего, так прощаю, кланяюся той гривне серебра».

— Ну, Максим, ты и разбойник!

— Я что! Вот ты...

Максим вновь, поведя носом, сложил руку дулей, ткнул Олексу и захохотал.

— Иди лучше, Олекса, гостей встречай!

В это время их всех троих точно клещами прижало друг к другу.

— Страхон! Балуй!

Не руки у замочника — железо. Был он коренаст, темновиден и силен, что медведь. Раньше во всем конце его один Якол, кожемяк, и обарывал.

— Всё, купцы, торгуете, всё народ омманываете, еще не весь товар продали, не всех людей омма́нули?— спрашивал Страхон, не выпуская приятелей.

— Пусти, черт, задавишь!

Замочник с неохотой разжал объятия.

— Занесла меня нелегкая промеж вашей братьи, купечества, как сома в вершу.

— Дмитр еще будет, не печалуй!

— А что? Дмитр, тот покрепче вашего мужик! Ну как, по́люби немцам мои замки?

— Не боись, Страхон, тебя не проведу (со Страхоном, как и с Дмитром, их связывало давнее совместное дело: Олекса уже много лет сбывал в Висби и Любек русские замки Страхоновой работы). Хочешь ли знать, сколь выручил?

— То потом!— отмахнулся Страхон с беспечной гордостью уверенного в себе ремесленника. («Мастерство не деньги, оно всегда в руках, это купец трясется над каждой ногатой!») — Прости, Олекса, у меня тут к Максимке словцо тайное... Пойдем! От Ратибора Клуксовича привет тебе хочу передать...

Много не церемонясь, он сгреб Гюрятича чуть не за шиворот и потащил в угол.

«Чего это он Максима?» — насторожился Олекса, услышав ненавистное имя. Но раздумывать сейчас было некогда. Гости всё прибывали.

Кум Яков пришел пеший — недалеко жил, да и редко ездил на коне. Одет просто, как всегда. Завид, тот приехал в санях с Завидихой, сыном Юрко, шурином Олексы, Таньей, молодшей сестрой Домашиной,— четверыма.

Мужиков встречал Олекса, жонок — Домаша. Ульяния всех гостей принимала на сенях. Ей кланялись почтительно мужики и молодшие жонки.

Сейчас, в дорогом цареградском бархате с золотыми цветами по нему и грифонами в кругах, суховатая небольшая Ульяния кажется и строже и выше ростом. Темно-лиловый, в жемчужном шитье повойник нарочно приоткрывает по сторонам серебряные волнистые волосы. На старых наработавшихся руках пламенеют рукава алого шелку. На шее — ожерелье из янтарей — Олексин дар, и пуговицы на саяне золотые, с зернью и изумрудами, редкие, тоже Олекса где-то достал, расстарался. Поджав сморщенные, потемневшие губы, улыбаясь, ревниво оглядывает она рыхлую Завидиху, которая, шурша шелками и затканным серебром фландрским бархатом, отдуваясь, тяжело подымается по ступеням. Лицо красное, широкое, что братина; тройной подбородок, рот полураскрыт, задыхается, как на сени взойти.

«Годы-то еще и не мои!— не без удовлетворения думает Ульяния, целуясь с Завидихой.— И чего величаются? Завид свое от отца получил, а Юрко и сейчас сам де-

ла вести не может. Сумели бы, как мой-то Олекса, подняться!» Сравнилась еще раз: не уступит Завидихе, пожалуй, и понаряднее будет! Повела глазом, мысленно добавляя: «И Домашу свою поглядите, боялись ведь, что голой будет у нас ходить!»

У Домаши, с хитрым расчетом, простые белого тонкого полотна рукава, даже без шитья, только по нарукавью тоненькая лента золотого кружевца, зато в уборе — драгоценные колты из Рязани, в самоцветных камнях, между которыми целый сад: на тоненькой витой рубчатой серебряной проволочке, с конский волос толщиною, качаются крохотные золотые цветочки, каждый чуть больше просяного зерна. Танья, как стала целоваться с сестрой, так и впилась глазами, даже ахнула, не видала до сих пор еще.

— Откуда?

— О прошлом годе еще Олекса привез, да редко надеваю, берегу!

Не утерпела, повела сестру показывать дареное зеркало.

Жонки проходили в покои Ульянии — пока, до столов, мужики — в горницу.

Пришел уже и отец Герасим в простом своем белом подряснике холщовом, с крестом кипарисным, из Афона привезенным. Никогда не носил дорогих тканей,— недостойно то слуге божьему, и шубу надевал простую, медвежью, за что был паки уважаем прихожанами. Прибыл уже и сотский, Якун Вышатич, с женой. Большой, тяжелый, в не гнущемся от золотого шитья аксамитовом зипуне. Богат, ведет торговлю воском, в Иваньском братстве состоит, а там шутка — пятьдесят гривен взнос!

Брат Тимофей еще раньше пришел, сидел у матери, Ульянии, а теперь вместе с Олексой встречал гостей, подергивая узкую бороду, улыбаясь как бы виновато. Редко улыбался брат, не умел, а когда надо было, как сейчас, словно виноватился перед людями. Знал он всех не только в лицо и по родству, знал, кто как живет,— у него взвешивали свое серебро, при нем рядились и считались, и потому даже Якун Вышатич поздоровался с ним уважительно, а Максим Гюрятич — так и с опаской. Знал брат и такое про Максима, что тот старому другу Олексе, да и жене своей никогда не сказывал.

Радько, принаряженный, лоснящийся после бани, тоже вступил в горницу. Его приветствовали, не чинясь, уважали за ум и сметку, да и знали, что в доме Олексы он что дядя родной. Прибыла запоздавшая сестра, Опросинья, с чадами. Мужик ее был в отъезде. Зимним пу-

тем ушел в Кострому и еще не ворочался. Расцеловались с Олексой, Домашей и матерью. Детей свели вместе и отослали под надзор Полюжихи. Прибыли и прочие званые. Задерживался Дмитр, наконец прискакал и он на тяжелом гнедом жеребце. Поздоровались.

— Почто не с супругой?

— Недужна.

«Поди, и не недужна,— подумал Олекса, приглядываясь к строгому лицу кузнеца,— а надеть нечего, после пожара-то голы остались!» Стало обидно за Дмитра: не таков человек, чтобы низиться перед прочими, а горд, самолюбив — удачей не хвастает и беды своей николи не скажет.

— Как путь?— бросил отрывисто Дмитр, слезая с коня.

— Товар есть для тебя.

— Знаю. Спытать надо.

— Хорошее железо, свейской земли, на клинки пойдет!

— После поговорим. Я нынце покупатель незавидной, может, кому другому продашь?

— За тобою не пропадет, не первый год знаемся!

Олекса обиделся несколько, кузнец понял, потеплел:

— Прости, ежели слово не по нраву молвил. Ну, веди к гостям.

Уже были все в сборе, как главный гость пожаловал. Его уж и мать Ульяния вышла на крыльцо встречать, а Олекса сам держал стремя — тысяцкий Кондрат, седой, величественный, медленно слезал с седла.

В горницах Кондрата приветствовали все по очереди, каждый за честь считал поклониться ему. Теперь можно было и начинать.

Всего набралось с женами до сорока душ, сели за четыре стола, составленных в ряд в столовой горнице. Детей, что привезли с собою, кормили в горнице на половине Ульянии. Особо, в клети на дворе, накрыли для слуг и молодшей чади. Блюда там были попроще и пир пошумнее.

Мать Ульяния пригласила к столу. Отец Герасим прочел молитву и благословил трапезу. Перекрестились, приступили.

На закуску были соленый сиг, датские сельди, лосось, снетки, рыжики и грузди с луком.

Разные квасы, пиво, мед и красное привозное вино в кувшинах стояли на столах. Квасы — в широких чашах, обвешанных по краю маленькими черпачками.

Потом пошли на стол рыбники, кулебяка с семгой, с осетриной, налимом, уха — сиг в наваре из ершей. Рыбу ели руками, пальцы вытирали чистым рушником, положенным вдоль стола.

После рыбных последовали мясные перемены: утки, куры, дичь и венец всего — печеный кабан с яблоками.

Кондрат прищурился.

— По дороге свалили, под Новым Городом!

— А хоть и подале — не беда. Нынче князь и зайцев травить не дает и птиц бить на Ильмере не велит!

— Ну, зайцы — то боярская печаль.

— Не скажи!— подал голос Страхон.— Боярину не труд и за Мстой поохотитьце, а вот у меня сосед, лодейник, Мина, Офоносов сын, знаете его! Мастер добрый, а семья больша, дети — мал мала меньше, родители уже стары, и старуха больна у его. Дак он си́лья поставит, худо-бедно зайчишку принесет, щи наварят с мясом. Опеть же гоголь, утица тамо... чад-от семеро, ежель всё с одного топора, много нать!

— Сейчас-то не ходит?

— Какое! Ходит и сейчас! Тут не хочешь — пойдешь. А только два раза силья обирали у его...

— Да. Сюда б его, мужики!

Скоро пошли шаньги с творогом, морошкой и брусникой, оладьи, пареная репа в меду, топленое молоко, сливки, белая каша сорочинского пшена с изюмом. Напоследи — кисель, пряники печатные, орехи, свои и привозные грецкие. Умел угостить Олекса.

Становилось шумно, гости всё чаще прикладывались к меду и пиву. Уже и жонки, кроме Ульянии, с поклоном стали покидать стол.

Разгорелся спор. Захмелевшие сотрапезники осадили тысяцкого.

— Немцы за горло взяли, Кондрат!

— Доколе терпим?!

— Дождут наши бояра, что Святую Софию обдерут, и станет тогда Колывань Новым Городом, а Новгород Торжком.

— Да и то навряд!

— Слыхал, Кондрат, чего раковорцы лонись учудили? Уже и Нарова ихняя стала!

— Молчишь!

— Поведешь когда? Все пойдем!

— Князя Ярослава надо спросить...

— Что немцы, что Ярослав — одна стать!

— Ну уж... Про князя такое! Бога вы не боитесь, мужики!

— А виру дикую на возах Клуксовичева чадь взяла почто? Ты наш тысяцкий, тебе ведать, тебе и виру брать, а не ему, псу!

— Ты наша защита! Князь что! Князю мы только на рати надобны!

— Тише, мужики, и нам нужны низовские полки!

— Нет, ты скажи, Кондрат, что Михаил Федорович думает?

— Посадник один не решает, мужики!

— А еще кто ле?

— Елферья Сбыславича, того знаем, наш воевода, а еще кто? Михаил Мишинич? Жирослав?

— Они решают за Новгород, а Новгород при чем?

— Владыка пока не благословит...

— Владыка тоже не весь Новгород!

— И вече...

— Без князя Ярослава мы что веник без обвязки,— вмешался Максим Гюрятич.— Попомните Олександра, мужики! Кабы не он, не стоять Нову-городу.

— Вы так, простая чадь другояк, порядок нужен!

— При Олександре был порядок! Пожни заял, села брал под себя! Да того всего мало, а вот что под татар ялись под число[1], то обидно!

— Не видали вы татар, мужики, князь Олександр знал, что делал.

— Видали, ездили в низовскую землю! Надо было ему брата Андрея спихнуть с владимирского стола, небось тех же татар назвал!

— Татары от бога посланы, по грехам нашим,— вставил голос кум Яков,— о них же прежде писано, и Мефодий, патарский епископ, свидетельствует, яко сии суть изошли из пустыни Етриевьскыя, что меж востоком и севером. Так Мефодий глаголет: «Яко окончанию времени, явитися тем, яже загнал Гедеон в гору каменну, и попленят всю землю от Востока до Ефрата, и от Тигра до Поньтского моря, кроме Ефиопия!» А вот почто всех писали под число по дворам, по одину, то князь Олександр худо сделал! Вятшим легко, а меньшим трудно. Оттого у меньших и нужа, и преступници умножились, и пиянство, и чад своих внаймы в работы дают!

— Весь Новгород возмутил, стояли за Жилотугом!

— Нет, нам с владимирцами в розмирье худо быть. Зайдут пути на Торжок, не пустят к нам обилья, насидисся!

---

[1] Я́ться под число — записываться с целью обложения данью.

— А князь Ярослав нам крест целовал, что того отступаюся, что брат мой, Олександр, заял, а сам чего творит?

— В Новгороде иноземца утесняет — нам печаль! А во свои земли на проезд, свободный от великого кагана, ярлык добыл? Это как понять?

Максим тряс головой:

— Ну, разошлись мужики, уйми ты их, Олекса!

Ульяния то и дело предлагала самым разгоряченным закусить, выпить, но спор, утихнув, снова возгорался.

— Ярослав на Микифоре Манускиничи серебро поимал?

— Почто обидит гостей новгородских?

— Во всем только свою выгоду блюдет! От Воишелгова мятежа Литва во Плесков вбежала, хотели новгородцы иссещи их, дак не дал! Говорит: «Крещены они Святославом». Добро! Ты, Гюрятич, не прекословь тамо, оба слушайта! Дак в то же лето пришел Довмонт к плесковичам, и приняли его честью, и тоже окрестился во Плескове и на тую же Литву на поганую ратью пошел со плесковичами! Так Ярославу забедно стало, привел полки низовские: «Хощю бо, на Довмонта, Плескову!» Было?

— Едва возбранили ему!

— Было, мужики, дак мы же ему и отсоветовали: негоже тебе, княже, с нами не уведавшись, ехать во Плесков...

— А Довмонта знаем! Про него худого не скажет никто! Лонись Елферий Сбыславич с ратью и с Довмонтом, с плесковичами, ходил на Литву. Много повоевали и приехали вси здоровы. Да вот Якун был на той рати!

— Прежде того Литва Полоцк заняла, а сына Товтивилова упасе бог к нам, в Новгород...

— То не наша печаль его на стол сажать!

— Как не наша, мужики, как бояр его и самого принели всем Великим Новгородом, а Литва его прошала убить.

— Того без веча не решим, мужики, полно спорить!

— Не угодно ли, мужики, вина заморского по чаше? — вновь вмешалась Ульяния.— Шумите непутем, гостя редкого обидите, Кондрат к нам боле и не зайдет!

— Спасибо, Ульяния, выручила меня! — улыбнулся Кондрат, сам поднял чашу за хозяйку дома.

— Ну а что посадские скажут, ремесленники?

Дмитр отозвался сдержанно:

— Мы тута молчим. Ты к нам на братчину пожалуй!

— А ты, Страхон, что скажешь?

— Что скажу! Я, как и протчие, а только думать нам преже надо, как с Орденом совладать. Я как ни сработаю товар, а только как и Олекса его продаст! Торговлю подорвут, и наше дело тоже скоро захиреет. А от немца моим замком не закроиссе! Ты, Кондрат, и с Михаилом Федоровичем вот о чем подумать должон! Здеся об Олександре речь была, так он немцев отгонил, уже было и Плесков и Копорье заяли... Для Олександра, мужики, русская земля начиналась тута, от Наровы, а для Ярослава — только во своем Тверском княжестви!

Поднялся старый Кондрат:

— Ну, мужики, спасибо на добрых речах! Спасибо на угощении, Олекса, спасибо и тебе, Ульяния!

Откланялся Кондрат. Вскоре и отец Герасим отбыл. Стало свободнее.

После еще пили, шумели, пели хором мужики. Взошла Домаша, Танья, иные жонки, Олекса с Максимом ударились плясать. Кум Яков упился, запел не в лад богородицын канон, упал наконец на стол головой. Мигнул Олекса, кума подняли, отвели в покой — отсыпаться. Якун, и тот сбросил важность, расстегнул свой зипун, не гнущийся от обилия золота, прошелся так, что тряслись братины на столах и плескались вина.

Плыло все в глазах у Олексы, плыл он сам по горнице тесовой, раскинув руки.

— Эх, гуляйте, гости дорогие!

Плясала Домаша, павой плавала по кругу, поводя плечами. Плясала Танья. Опять пели все вместе. Выходили гости во двор просвежиться, обтирали снегом потные лица, перешучивались с девками, снова шли в жаркую горницу. Олекса уж раза два лил холодную воду на затылок, растирался снегом. Шел, не чуя ног, будто летел качаясь. Домаша встретилась на сенях, тоже горячая, в полутьме припала на миг, чему-то рассмеялась тихо грудным голосом.

— Голова закружилась. Тоже меду выпила, простишь? Люблю я тебя, Олекса, не променяю ни на кого! — убежала.

Поздно расходились гости, кто и остался почивать, упившись не в меру. Мать Ульяния, утомясь, ушла на покой.

Проводя последних, Олекса пил холодное молоко, приходил в себя. Брат, тот не пил совсем, встретил хмуро:

— Пьяный али тверезый?

— Понимать могу.

— Можешь, так слушай. Пойдем куда ни то!

Поднялись в холодную светелку. Поеживаясь в тонкой рубахе, Олекса понемногу приходил в себя.

— Что ты Гюрятичу обещал?— накинулся на него брат.

— А цто?

— Что, что! Серебра он у тебя прошал?

— Под немца.

— Под немца! А на ком получать будешь, тебе ведомо? Обещал, а не давай, скажи — просчитался на железе, не обессудь, и дело с концом.

— Максиму не могу не дать, он меня не раз выручал.

— Ну, меньше дай! Не можешь... Шутка ли, пятнадцать гривен серебра! Я Максимкины дела знаю, дай три гривны ему, а больше — не обессудь!

— А что?

— Ты что думаешь, Кондрат ради чести нашей пожаловал? Как бы не так! Кабы ты воском торговал, как Якун, тогда бы еще поверил я.

— Ну а почто же?

— Почто! Ему надо знать, что думают купцы! А раз так — копи серебро! Что? Не знаю что, а свободные куны не помешают. Обилье тоже запасай, займет Ярослав дороги на Торжок, сядем мы опеть липовую кору глодать. Ты-то не помнишь, тебя и на свете не было, а я помню, как пропадали с отцом, как в Русу брели. Я один тогда и остался да Опрося маленька. Да вот и недужен с той поры. А дружка этого своего, Максимку, не во все посвящай! Я тебе не скажу, а поопасайсе. Он отца родного подведет, коли ему нать! Тут, промеж вас, один Страхон умный, тот все понимает, он и Максима раскусил давно...

Помолчали. Хмель все больше покидал Олексу. «А ведь верно, и прав брат! Чего я Максимке наобещал? Ну, не три, шесть гривен дам, не боле».

— Железо все Дмитру продаешь?— строго спросил брат.

— Нет, не все, часть. С Дмитра мне сразу серебра не получить, пока еще он расторгуетце, да и... с другого-то я топерича, как железо подорожало в торгу, могу и лихву взять!

— Лучше бы все Дмитру! Он человек верный. Кого опеть надуть хочешь? Жироха, боярина?— Подумал, пожевал губами.— На что ему железо занадобилось? Ну, смотри! А лучше бы с Дмитром все докончал, вернее. За большой прибылью гонишься, все не потеряй, смотри! Прусскую улицу заденешь с одного конца, другим тебя же в лоб ударит, они все заодно встают, когда против нас!

Это мы грыземся: три векши на четырех купцей разделить не можем...

— Ну, Михаил Федорович...— начал было Олекса.

— Что Михаил Федорович! Добро бы между Вощинниками и Великим рядом улицы замостил, больше с него чего взять! У Мишиничей, Михалковичей, Гюрятиничей и отцы, и деды, и прадеды в посадниках ходят! Ну, прощай, пойду!

— Не останешься?

— Нет, дел много из утра! Моя уж собралась, верно.

— Спасибо, брат!

— Не на чем! А серебро завтра, пораньше, свесим. И про Максима помни, что я сказал.

Уже засыпая в объятиях Домаши, Олекса сквозь сон проронил:

— Брат предупреждает: Максиму много серебра не давать, не знаю как...

— А не давай, конечно!— живо отозвалась Домаша, приподнимаясь на локте.— Он тебя, гляди, разденет совсем!

— Что ты так на его, ай не порато угодил?— лениво подивился Домашиной запальчивости.— Максимка-то! Да много не дам, эко: пятнадесять гривен серебра... Шесть дам.

— И шести не давай! Чем за корельское железо платить будешь?

— Заплачу... сукном. А с Максима грамотку возьму. Не боись. Спи! Хозяюшка моя.

Заснул. А Домаша еще долго лежала с открытыми глазами, вспоминала, как сводничал Гюрятич в отсутствие Олексы, как намекал ей шуточками... Друг! Хорош друг! Жох долгоносый, кутыра боярская! И не скажешь Олексе, не поверит! А поверит, еще того хуже... И сказать нельзя.

VI

С заранья другого дня Олексу закрутили дела. Все, что ждало, что накопилось за зиму, что требовало глаза и слова хозяина, теперь навалилось разом.

Максим сумел-таки вытянуть у него и не шесть, а десять гривен. Только свесив и передав слитки серебра, понял Олекса, что отдает зря. Гюрятич тоже знал или чуял нечто и поспешно доставал серебро у кого мог. Было у Олексы зарыто на черный день, но того трогать не хотелось: мало ли — пожар или еще что, с чем останутся мать и Домаша? «А верно, придется тронуть!— размышлял он,

уже сердясь на свою уступчивость Максиму.— И, как назло, всем вдруг занадобилось серебро!»

Проводив Максима, уряжался с Завидом. С тестем, как всегда, была долгая возня. Опосле с Нездилом возили товар в лавку, и все ж таки доспел к Дмитру.

Наспех отстроенный Неревский конец еще всюду являл следы прошлогоднего пожара. Жалко выглядели ряды курных клетей, сложенных абы как, на время. Протаявший снег обнажал слои слежавшегося пепла. Редкие дома были ставлены на совесть, на года, а у большинства еще громоздились кучи свежих, по зиме завезенных смолистых бревен. Олекса, озираясь, шагом проехал по Великой, мимо кожевников, до угла Великой и Кузьмодемьяней улицы. Здесь помещались бронники, оружейники, секирники, ножевники, стрельники, лемешники, удники. Всех их объединял приход Кузьмы и Дамиана, святых покровителей кузнечного дела, и староста братства, Дмитр.

Олекса разыскал Дмитров двор, привязал коня у огорожи, окликнув отрока в фартуке, спросил у него, где хозяин.

— Тамо, работает.

Олекса зашел в кузню, в сумрачное, багровое и грохочущее Дмитрово царство, тесное от кузнечных орудий. Наковальни, кувалды, небольшие молотки-ручники, клещи разных размеров, зубила, пробойники были расставлены, разложены и развешаны по стенам. Морщась от жара горна, Олекса с удовольствием и опаской взирал на огненную работу кузнечную. Вот подручный, схватив изымало, поворачивает тускло рдеющую заготовку, с нее дождем сыплются искры, и от оглушительных ударов молотков по железу закладывает уши.

Дмитр — волоса забраны кожаным ремешком, в кожаном прожженном фартуке, с измазанным, мокрым от пота лицом — только глянул. Подмастерье, старший сын Дмитра, бил тяжелым омлатом, а Дмитр кидал россыпь мелких ударов небольшим ручником, выравнивая края и закругляя поверхность. Швырнув наконец откованный шелом в чан с водой — кузница сразу наполнилась шипением и паром,— Дмитр кивнул Олексе и, передав молот подручному, скинул фартук, ополоснув руки и лицо, попенял:

— Припозднился ты! Я ждал из утра, да вишь, и ждать недосуг!

Прошли в клеть, срубленную наспех, бедную утварью и посудой. Огляделся Олекса, вздохнул. Какой дом был у кузнеца!

— Все погорело?

— Все, как есть.

Второй сын, рослый, светловолосый, застенчивый отрок, поднялся из-за стола, заворачивая в холст мелкую железную работу, поклонился гостю, молча прихватил за плечо меньшого брата, что стоял рядом, двинулся к выходу.

— Мать покличь!— кинул Дмитр.

Уселись. «Детьми не обидел бог кузнеца!» — подумал Олекса, окидывая взглядом широкие, еще по-детски угловатые плечи и большие руки отрока,— что старший, что младшие — в батька! Только вот волосом в мать пошли.

Вошла Митиха, поздоровалась с улыбкой, искоса, быстро, но заботливо оглядела мужа, поставила кувшин с квасом на стол.

«Руки сейчас ополоснула, а тоже в железе!— отметил Олекса.— Всех запряг! Ну, коли так, выберутся!» Он приободрился, повеселел. Совсем отогнал вредную мыслишку передать товар кому-нибудь другому.

Перемолвились сперва о семьях, о здоровье. Помолчали. Митиха вышла извинившись. Кузнец дождался, когда захлопнулась дверь, молча поднял глаза, спрашивая.

— Я хотел взять по четыренадесять кун,— прямо начал Олекса.

— А продашь по дванадесять,— возразил, как о давно решенном деле, Дмитр.

— Дванадесять кун?— повторил Олекса протяжно, глядя в твердые глаза кузнеца.— Ну, это еще бабушка надвое гадала.

— Я сказал, что нынь покупатель плохой.

— Поторгуемсе. Сейчас брони хорошо идут, князю оружие нать; потом весна, крестьяне сошники да наральники живо раскупят, неревчане твои, гляди, строятся! А плата сразу: железо не остынет, куны уж в руках! (Всегда Дмитр заставит тебя же его выгоды исчислять!)

— Сам знаю, могу и больше сказать! Мне владычный двор шеломы да мечи заказал. Нет свободного серебра, Олекса!

— Возьму товар.

— Товар-то тоже... Товар обещать, что в закупы идтить! Я за мир в ответе, не одному себе беру, знашь!

Долго ходили вокруг да около, и вдруг Олекса решился:

— Вот что! Я тебе продам даже и не по четыренадесять кун, а по шестьнадесять... Постой! Товар мой у Зве-

ринца. Я воз провезу тебе даром. Ночью. Чтоб никто не знал.

— Кому еще продаешь, купец?

— Ну, это мое дело!

— Посадским? Боярину?

Поморщился Олекса от этой всегдашней чрезмерной щепетильности кузнеца. Что ему до других посадских, а вот же! Впрочем, сейчас склонен был и согласиться с ним. Ответил:

— Боярину.

— Честно?

— Да.

Поглядели в глаза друг другу, уверились.

— Ну, тогда... Что ж... Только один воз... там пудов будет...— Дмитр назвал по памяти вес воза.— Мало чтой-то получаетце. Никак не цетыренадесять кун с веверицей?

«Сосчитал, вот мастер!» — восхитился Олекса. Сам решил: спущу до трехнадесяти, с векшей, боле не уступлю!

«Соглашусь на тринадесять, ну, векшу прикину,— подумал староста кузнечного братства,— а боле не дам ни просяного зернышка!»

Торговались долго и упорно, пересчитывали раз за разом, ругались и мирились, отдыхая, пили квас и снова ругались, но в конце концов сошлись на трехнадесяти кунах с векшей, и оба остались довольны. Зато Олекса выторговал на послухах объявить по шестьнадесять кун с половиной.

«Ну,— думал он, утираясь,— теперь возьму у Жироха! Узнает, что Дмитр по шестьнадесять с половиной кун брал, заплатит и по семьнадесять! Дмитра уломать было потрудней».

Жирох брал не сам, выслал управляющего. Олекса торговался с Озвадом долго, ссылался на послухов, сам сокрушался дороговизне, разводил руками. Сперва туго шло, а как понял, что купит, велено,— осмелел. Сперва уступил от семнадцати полчетверть куны, а тут накинул четыре веверицы. Но только уж, когда сбыл все, вздохнул свободно. Знал бы Озвад — мог бы и даром взять, да еще навалялся бы у него Олекса в ногах опосле!

Сбыв железо, распрямился Олекса, почувствовал себя увереннее, а то все будто краденое продавал, огляделся.

Весна ширилась с каждым днем, и все спешило. Уже заливало луга. Хрустальные сосульки со звоном опадали рядами с вырезных краев нагретых солнцем кровель. Оглушительно кричали птицы. Онфим уже давно ходил по

пятам за отцом, тут выбрал время Олекса, вывесил скворечню. Воробьи купались в лужах, торопили весну. Спешили мужики с возами, все в городе запасались на распуту дровами и сеном. Везли мороженую рыбу, репу, бревна, дубовую дрань для крыш. Увязая в снежной каше, тянулись останние обозы с зерном через Торжок и Русу. Торопились по последнему санному пути боярские дружины из Югры, Печоры, Колоперми, Терского берега, Двины; везли меха, рыбий зуб, жемчуг, ловчих соколов, серебро, соль, красную рыбу, вели челядь. Из ближних и дальних погостов свозили воск, мед, жито, полти мяса, бочки с пивом, сыры, кур, солод, хмель, коноплю, железо, масло, лен и шерсть. Спешили гости переяславские, тверские, костромские, смоленские — не опоздать бы к летнему пути! Ехали гости восточные: булгары, татары Золотой Орды, армяне. Ехали завернутые в полосатые ватные халаты, с крашеными бородами персидские купцы. Ехали корелы в холщовых некрашеных портах, в волчьих и медвежьих шубах, везли воск, шкуры, рыбу, вели коней. Ехали из Устюга, Белоозера, Вологды... Со всей великой земли русской собирались гости к водному пути в Новгород. Тесно становилось на подворьях, в торгу поднялись цены на сено, овес, ячмень.

Варяги, готы, немцы на своих дворах тоже готовились: чинили бочки, чистили амбары. Уже кое-где начинали смолить челны, окалывали шорош вокруг черных носов кораблей — вот-вот двинется лед из Ильмеря! Уже забереги шире и шире расходились на Волхово.

Там и сям звонко стучали топоры, соревнуясь с птичьим граем и голосом колоколов. Свежие смолистые щепки на голубом весеннем снегу изводили жадных сорок. Серое небо, влажное и припухлое, низко бежало над городом, открывая в разрывах ослепительную промытую синь, и тогда вспыхивали алые наряды горожанок и во всех лужах, скопившихся над замерзшими водоотводами, рябило, дробилось голубое весеннее небо.

Уже старики, снимая шапки, вдыхали влажные запахи, почесывая головы, гадали: какая падет весна? Даст ли бог с сенами, с нивами? Мальчишки взапуски шлепали по лужам, брызгались, кричали пуще воробьев. Уже весенними, звенящими голосами запевали в светлые вечера дёвки по дворам...

Подперевшись руками в бока, расстегнувшись и заломя колпак, стоял утром другого дня Олекса на ветру, на высоком берегу Волхова, и жадно вдыхал весенний запах тающего снега и разогретой солнцем смолы.

Вот-вот тронется лед, и поплывут корабли, заскрипят подъемные ворота на пристанях ладейных... Вот оно, счастье! Эх, сила, эх, удача! Эх, удаль молодецкая!

— Здорово, купечь! — окликнули сзади.

Обернулся Олекса, шалыми глазами глянул на двух незнакомых мужиков: чьи такие? По платью — боярская чадь.

— Поди-ко сюда!

— Поди, поди! — строго приказал старший из двоих.

Сощурился Олекса:

— Цего надо?

— С нами идем, дело есть.

— Куда?

— Боярин тебя зовет, Ратибор Клуксович.

Усмехнулся Олекса, нахмурился.

— Скажи боярину, что у меня дела с им нет никакого и впредь не будет!

Отвернулся, а сам краем глаза следил... Переглянулись мужики.

— Слышь, купечь, — сказал старший негромко, но настойчиво, — силой сведем!

— Силой?!

Побледнел Олекса, ступил, примериваясь, как собьет с ног крайнего.

— Си-и-и-илой? — повторил протяжно, сощуривая глаза.

Второй мужик отступил, беспокойно огляделся по сторонам, но старшой не стронулся ни на шаг.

— Замахиваться погоди, купечь, как бы не прогадать, нас-то двое! А еще скажу, велел Ратибор поклон тебе от Озвада, Жирохова ключника, передать.

Потускнел Олекса. Холодно чегой-то стало, запахнул епанчу. Спросил хрипло:

— Чего надо боярину?

— Вот так-то лучше! Не боись, поговорить ему надо с тобой. Идем!

И будто небо уже не голубое, и будто солнце за тучку зашло... Подумал только: «Эх, предупреждал меня Тимофей, вот и погнался за наживой, дурак!»

Усмехнулся невесело:

— Поговорить можно, чего не поговорить... Да ты, никак, держать меня вздумал? Не сбегу!

Стряхнул руку боярского прихвостня с плеча, прошел вперед. Подумал: «Словно татя меня поймали!»

— Ты нашим боярином не брезгуй! — говорил мужик дорогою. — Он у самого князя Ярослава в чести! Зовет, стало, надобно ему. Ты кто? Смерд. А он — боярин!

Олекса молчал. Старался собрать мысли: «О Дмитровом железе знает ли? Дмитр бы не подвел. Ну, а коли так, виру заплачу ему, псу!» Когда решил — полегчало.

Перед крыльцом Ратиборова терема Олекса приосанился. Постарался, всходя по ступеням, подавить тревогу.

Ратибор принял сразу, ждал. Олекса совсем повеселел. Ступив в горницу, снял шапку, степенно перекрестился на икону, после уже перевел глаза на Ратибора. Тот сидел на лавке и, усмехаясь, с издевкою глядел на купца, как будто подгонял: «Ну, ну, еще! Что же ты? Смелее! Еще чуток!»

Мужику Ратибор махнул рукавом, не глядя: не нужен! Тот вышел.

— Что ж не прошаешь, купец, чего тебя привели?

— Усадил бы сначала!

Ратибор поднял бровь, побледнел, зрачки наглых, навыкате глаз застыли.

— Садись!— переломил себя, усмехнулся снова.— А ты с норовом, видать, купец! Люблю!

— Любишь не любишь, того не ведаю. Звал-то зачем?— отмолвил Олекса, усаживаясь на лавку.

— Думаешь, за железо спрошу, что без виры провез?— негромко произнес Ратибор.

Олексу бросило в жар.

— Ве...

«Вестимо»,— хотел сказать, поймал себя за язык, поперхнувшись, докончил:

— Ведать не ведаю ничего.

— И что ты изменник, переветник немецкий, не ведаешь? Может, ты и того не знаешь, что отец твой немцам служил?

Олекса раскрыл рот и застыл.

— И кого ты даве с обозом привез, неведомо тебе?

Олекса молчал, горница закружилась в глазах.

— Вот что, купец, шутить не будем. За железо, что Озваду продал, заплатишь пять гривен. Мне заплатишь, за то, что промолчу. А коли другие узнают — на себя пеняй. А о другом...

— Отец, я — переветники?!— выдохнул наконец Олекса. Пять гривен сейчас для него мало что значили.

— Да, купец. Отец твой с Борисовой чадью, с изменником Твердятой дело имел.

— То когда было?! Да и не было того! Отец на Чудском сражался!

— Ну, давно ли, нет — яблоко от яблони недалеко падает! А чего тебя Жирослав, покойник, не тем будь помянут, так любил? Мотри, невесту высватал! Тоже дав-

но было? Эх, купец! Железо ты продал, а одно ли железо привез из заморской земли? Сам прежде, а возы потом? А где ты половину обоза потерял-посеял? А что в тех было возах, железо, баешь?

— Железо, одно железо!— смятенно пробормотал Олекса.

— А ежель я на совете, в братстве заморских купцов твоем, докажу, что покойника Творимира сын, купец Олекса, нынче с краденым железом, тайно...

— Не краденое, мое! Сам ты, сам ты...

— С краденым железом,— жестко повторил Ратибор,— иноземного соглядатая привез, и послухов на то представлю...

— Соглядатая?!

— Да. И не впервой. А что возят, переветничают, то всем ведомо. Допрежь только не сыскать было кто. А теперь... Сам ты при возах не был, не докажешь. А что за тайный воз твой ночью завозили с Неревского конца?

— Дак то...

(И взмок: чуть бы — и Дмитра выдал!)

— А на немецком дворе посол незван неведомо кто в тот же день объявился. Дак как же не ты! Теперь, ежели я на то все послухов представлю, кому поверят?

— Мне!

— Тебе ли? А ежель друг твой, Максимка, все сказанное подтвердит и крест целует, что сам того соглядатая у тебя в тереме видал? Дружок-то твой весь в руках у меня!

— Врешь!— И понял вдруг Олекса: не врет.

Ратибор чуть вскинул глаза (и этого лишнего слова не простит, паук), маленьким ножичком с костяной, парижской работы, рукоятью принялся чистить холеные ногти. На рукояти — рыцарь в иноземных доспехах на коне. Ждал.

— Чего требуешь от меня, боярин?— спросил Олекса, опуская голову.

Ножичек со стуком полетел на стол. Наглые красивые глаза уставились на склоненную голову.

— Хочешь ли грех свой смыть, послужить великому князю Ярославу?

— Все мы его слуги.

— Ан не все? Знаю я речи, что в твоем дому велись, донесли мне.

«Неужели Максимка?» — с болью за друга подумал Олекса.

— Ведомо мне и то, зачем старик Кондрат приволакивался. Князь Юрий вам больно не угодил? Хотели бы Ел-

ферьем заменить? С ним, с петухом, мягче не станет! А хитрая лиса, посадник Михаил ваш, не на князево ли место ладитце? При Олександре тихонький был, головы не подымал!

«Ты голову подымал ли при Олександре!» — подумал Олекса, но не сказал ничего.

— Будешь мне сказывать, что услышишь...— Помолчав, Ратибор продолжал:— Чего там у вас, в братстве, за колгота? Хочешь на место Касарика своего кума Якова посадить, чтоб ловчее плутовать было?

— Не я, другие. Яков плутовать и мне не даст!— твердо ответил Олекса, подымая глаза.

Ратибор усмехнулся недоверчиво:

— Ой ли? Ладно, дело твое. Тем лучше. Мне Касарик нужен.

— Мой жеребей дела не решит, многие Якова хотят!— возразил Олекса.

«Мелок же ты, боярин!» — злорадно подумал он про себя...

— О других не твоя печаль!

— Вестимо.

— Без обмана, слышь?

Олекса снова поднял глаза, промолчал, кивнул.

— С Кондратом говорить будешь.

— Навряд.

— Будешь, говорю! После ко мне придешь. Гляди, не ты один, проверю! И что посадник Михаил думает, мне надо знать! Ты не косись, что Касарик плут. Все вы не лучше! И я не прост,— словно угадывая не сказанное Олексой, продолжал Ратибор,— выгоду свою блюду, конечно, а служу я великому делу! Вы тут во своем корыте, дале Новгорода и мысли помыслить у вас нет, а князь Ярослав о всей Руси печалует, он умом, что сокол, вдаль глядит! Не были бы вы все поодинке, дак и татары бы Русь не полонили!

— Кто поодинке-то был?— не выдержал Олекса.— Князь владимирский Юрий сам Рязани не помог, своего города Владимира и то не спас, княгиню отдал на поруганье! Ростовчане да суздальцы врозь разбрелись...

— А Господин Новгород Торжка и того не отстоял! Вы за Торжок с князем Ярославом только и воюете, а татарам небось на блюдце поднесли! Что Торжок. Плесков немцам отдали! И твой батька тому причинен! А кто спас? Олександр, Ярославов брат! И виру на обозы новгородские я по князеву слову налагал. Князю на войско много нужно, а серебро от немцев небось все через ваши

руки идет! С Тверью торговать, дак своего николи не упустите!

— У нас зато хлеб дорог.

— То-то бояре новгородские, что ни год, новые пожни распахивают. Это для вашего брата, купцов, дорог хлеб. Лучше бы князю служили, дешевле бы и за хлеб платить пришлось!

«Может, ты и прав в чем, боярин,— думал, понурясь, Олекса,— а не верю я тебе! Нечистыми руками чистого дела не делают. Убеди Новгород, сами за тобой пойдут! А так, как ты меня поймал, доброго мало будет!»

Вслух же только сказал:

— Оно бы хорошо, коли так!— и замолк.

— Так и будет!— заключил боярин.— Ступай, купец. Да бога славь, что не гублю тебя. Жонка у тебя хороша больно!— хохотнул он, а Олекса, побледнев, закусил губы: «Вот как, вот оно что, дак не про то ли Домаша намекала? Ну, боярин, узнаешь, попомнишь ты меня, погоди!» Склонил голову в поклоне, чтобы Ратибор лица не увидал, рука судорожно смяла шапку...

Недосмотрел Ратибор, а лучше ему было не говорить последних слов.

Кое-как вышел Олекса, качнулся, пьяный от ненависти.

— Серебро не забудь!— бросил ему вслед боярин.— Явиду, тому, что привел тебя, отдашь!

Вот и весна, вот и воля, вот и удаль молодецкая! Вечером вырыл Олекса закопанное на черный день серебро, свесил, отдал боярскому прихвостню.

Тимофею сказать? Матери? Нельзя... К посаднику пойти, ударить челом: так и так? А что посадник? Князь выше его! Надо ловчить, изворачиваться... Неужели отец служил немцам?!

Весна заливала луга.

VII

Посадник Михаил Федорович в эти дни едва поспевал справляться с делами. Со дня на день должен был вернуться из Заволочья сын посадника Обакун с дружиной, привезти дань, меха. Опозднились. Поспеют ли теперь к торгу?

Мужики из Черешшанского погоста жаловались на ключника, просили заменить кем другим. Морщась, он перечитывал не очень грамотное послание своих крестьян: «Господину своему Михаилу Федоровичу хрестьяне твои Черешпана чело бию те што еси отода деревенску

Клименцу Опарину. А мы его не хотимо, не суседней человеко. Волено бо деиты».

Следовало бы побывать на месте, разобраться, как и что. Может, и верно, своеволит Клименец? А может, лукавят мужики?

Из Рагуилова писал Сергий, что тати покрали ржаной стог четвертной — овинов пять свезли. Тоже надо бы самому быть. Что за тати? Не соседнего ли села мужики? Земля там век худа, ничего не родит.

А дела посадничьи не выпускали из города. Только что отпустил мастера-городника, наряжал чинить стену меж Бежицкой и Славенской воротней башнями. Сидели втроем, с кончанским старостой, считали, сколько народу нужно звать из волости, каковы расходы города и конца.

Теперь ждал мостников, что перемащивали улицы. Снова сделают не ладом водостоки подземные, начнет заливать амбары на Торгу, с кого спрос? С посадника. Даве мастер объяснял не очень понятно. Михаил Федорович велел принести чертеж и малое подобье сделать...

Не старый человек, Михаил Федорович и до того посадничал в Ладоге, а там и перевалка ладейная, и гости заморские, и ратная угроза. Ничего, справлялся! Да десятое лето уже в Новом Городе. И не трудна работа, да вот ладить с князем Ярославом, а паче с наместником его, задабривать вече, уговаривать разом и Прусскую улицу и торговый пол, привечать иноземных купцов, теснимых княжеским тиуном,— это порою долит.

— Ну, где ж они!— подосадовал на запоздавших мостовых мастеров. Хмуря брови — будто облако отуманило лицо, прошелся в мягких сапожках, шитых жемчугом, глянул в окно: птиц-то, птиц! Обдернул рубаху, придвинул точеное кресло к налою, достал костяное изгогнутое писало, с головой зверя на рукояти, лист бересты положил на налой. Спасибо государыне матери, на седьмом десятке не устает следить за хозяйством! Подумал, начал писать:

«Поклон оспожи матери. Послал есмь с подсаницким Мануилом двадцеть ногат к тоби, а ты, в Торжок приехав, кони корми добрым сеном, а к житници свой замок приложи. А рожь и ячмень давай, кому надобе. Да пошли Прочиця, пускай купит коня два и идеть семо. Да пришли с Прочицем воску петь пудов, да полсти скотинных две, да меду пуда три либо цетыре, а протчее до воды оставь...»

Протьша заглянул в горницу, хотел сказать, что пришли мостники, да увидал склоненную голову посадника, с расчесанными, блестящими, без единого седого волоска,

заплетенными в косу, ради удобства, волосами — пишет! — вышел тихонько. Но Михаил Федорович услышал. Окликнул негромко:

— Протьша? Что, пришли мостники?

— Пришли.

— Постой,— докончил грамотку, встал.— Пошли паробца на конец вборзе к Мануилу, он поедет в Торжок. Передай бересто и двадцеть ногат ветхими кунами. Пусть отвезет заодно!

Накинул шелковый домашний зипун.

— Зови!

Вошли мастера. Смотрели чертежи водоотводов, подобье, тонко сработанное из кусочков дерева и бересты. Принесли чан, проливали водой. Посадник остался доволен.

— Кто делал?

Старик мастер указал на высокого светловолосого отрока.

— Смышлен. Добрый будет мостник!

— Я в порочные[1] мастера хочу! — осмелев, подал голос тот.

Улыбнулся Михаил Федорович:

— Сделай мне подобьем гульбище в саду под кровлей и водоводные трубы к терему. Посмотрю работу — помогу.

— Уводишь парня,— недовольно возразил старый мастер,— он еще своего не отработал!

— Сговоримся, не обижу.

Постучал Михаил Федорович. Явилась девка, обнесла с поклоном мостников чарою.

— Добро сделаете, за платой не постою. Кроме ряженого, прибавлю из своих!

Шумно благодаря, мостники двинулись к выходу.

Протьша проводил мостников до ворот и тотчас явился снова:

— Иконный мастер!

Принесли заказанную икону. Два подмастерья втащили большой, в три четверти роста человеческого, поясной образ Николы.

Пока развязывали вервие, разворачивали портна и устанавливали, мастер, взлысый, угрюмый, сердито хлопотал, не глядя по сторонам, то и дело стрóжа своих учеников. Установил. Без робости указал посаднику:

— Ты тамо стой!

---

[1] Порóки — стенобитные осадные машины.

Улыбнулся Михаил Федорович, послушался: хороший мастер всегда свое дело знает! Хотел улыбнуться вновь, взглянул... да и забыл.

Освобожденный от своих холщовых риз, Никола-угодник строго глядел на него. Жесткий хрящеватый нос; большие глаза под взлетающими, изломанными дугами бровей смотрят внимательно и сурово; тонкими плавями прописанные линии лба являют волю и ум; худые чуткие пальцы сильно и бережно стиснули переплет книги.

— Не блестит?— обеспокоился мастер долгим молчанием посадника, но всмотрелся в его лицо, успокоился.

Застыл Михаил Федорович, замер, рука ущипнула бородку, да так и осталась. Силою мастерства, что почти уже спорило с божественным, веяло от иконы. Сам Господин Великий Новгород, ратный и книжный, ремесленный и торговый, смотрел строго, глазами угодника Николы, с тяжелой составной доски.

Почему-то заговорил вполголоса Михаил Федорович, захлопотал, усадил всех трех; выйдя из покоя, послал отнести мастеру, сверх установленного, полоть[1] мяса и чашу масла, воротясь, сам налил заморского фряжского вина в серебряную чеканную чару.

Выходя, изограф бросил на икону сожалеющий взгляд. Сроднился с нею, постился перед тем, как взяться за кисть, делал, творил, горел, веря и не веря себе, взирал с восторгом, а отдал, и пусто в душе — до новой работы, до нового труда. Рука поднялась перекреститься на свою икону, не донес, вспомнил, что еще не освящена. Михаил Федорович заметил движение мастера:

— Погоди, в Никольском соборе намолишься! Самому владыке Далмату святить пошлю.

Полюбовавшись вдосталь один, велел вынести образ в иконный покой.

Затем Михаил Федорович написал еще два письма: ключнику в Рагуилово и деловое — ладожскому посаднику. Он еще раз пробежал глазами жалобу корел, переданную утром корельским данником Григорием. «*Бьют челом корела* (перечислялось, каких погостов) *Господину Нову-городу, приобижени есмь с немецкой стороны,* — писали они,— *отцина наша и дидена...*» А вот: «*...мехи имали в крецете, и вержи пограбили, а сами стоят на Ладозе...*»

Давече отложил было — распутица, а тут решился, хмуря красивые брови, отписал в Ладогу, чтобы послали, пока путь, дружину на Усть-Нево: разбойников похва-

[1] Пóлоть, полть — половина туши, разрубленной вдоль.

тать, товар и полон отбить. Пусть знают, что не дает Великий Новгород в обиду ни свои волости, ни друзей своих!

Он еще дописывал, когда доложили, что приехал тысяцкий. Михаил Федорович прошел переходами, встретил Кондрата на сенях.

— Елферий еще не был?— спросил Кондрат, подозрительно оглядывая углы.

Михаил неприметно усмехнулся. Тысяцкий и воевода недолюбливали друг друга.

— Не был. Нам с тобой, Кондрат, прежде уведаться надоть. Князь Ярослав мыслит на Литву поход.

— Вот как!

— Вот так. Руками Великого Новгорода свои споры с Литвой решать хочет.

Всегда спокойное лицо Михаила свело судорогой. Он встал, сдерживая волнение, сжал в руке тисненый чехол посадничьей печати.

— Хоть бы то подумал прежде, что без нашей заморской торговли и Переяславль, и Тверь, и Москва пропадут! Сами немцам поклонятся тогда: придите и володейте!

— Вот как!— повторил Кондрат, не поспевая уследить за быстрой мыслью посадника.

— Что говорят купцы?— уже спокойно, взяв себя в руки, спросил Михаил.

— Приобижени суть от колываньских да раковорских немець.

— А сына Товтивилова на отцов стол сажать не хотят?

— Мало кто.

— И то добро!

— Вот чего еще, Михаил! Обижены купцы и на тебя и на меня. Почто позволил Ратибору виру дикую брать! Прошают: я ли купцам голова али Ратибор?

Посадник усмехнулся:

— Обижены, говоришь? Что ж, ты сам бы хотел лишнюю дань с купцов собирать?

Кондрат осекся, эта мысль ему не приходила в голову.

— Знаешь, что Ратибор на твое место метит?— продолжал посадник.— Нет? А я знаю! И у Ярослава, заметь, он в чести. Ты гляди за Ратибором, Кондрат, чтой-то он нынче к купцам льнет. Мне доносили, что и грозил не одному и лестью уговаривал... И переветников ищет он неспроста. Не у самого ли рыльце в пуху? На нашей стороне ищет, на Торговой. Ты заморского купца Олексу хорошо знаешь?

— Что, Ратибор и до него добирается?

— Добирается ли нет, а покойник Творимир, батько его, слышно, с Борисовой чадью дела имел... Яблоко от яблони...

— А кто тогда с Борисовой чадью дела не имел! Только тот, кто не родилсе! Посадник Водовик, сам знаешь, был против Ярослава Всеволодовича, хотел на Чернигов опереться, было и передолили тогда, эко, добились, что смердам пять годов дани не платить! В ту пору все были довольны! А как затворил Ярослав пути да голодом задавил город, тут и подняли бунт. Борисова-то чадь сперва в Чернигов подались, после во Плесков, а уж потом, как откачнулись все от их, они и ушли в немцы. Дак Творимир, отец Олексин, в немцы не бегивал, назад воротилсе! А что дела имел с тысяцким до последнего часу, то верно. Дак на того, кто быстро переметываетце, надежа плоха! С той поры сорок летов минуло, а как что, все наша Торговая сторона в ответе! Я у Олексы даве на пиру был, худого про него не скажу...

— Ты не скажешь, Ратибор скажет, тоже худо. Откачнутся от нас.

Оба задумались. Старый Кондрат пыхтел, переживая обиду.

— Орден, Орден! Без него бы и Ганза головы не подымала...— досадливо проронил Михаил. Ему было ясно, что за торговой спесью Ганзейского союза стоит воля Ливонского Ордена рыцарей-крестоносцев, разбитого, но отнюдь не добитого Олександром и даже очень усилившегося с тех пор.

— Ганза ждет, когда нас Орден сожрет!— гневно бросил Кондрат.

— Князя Олександра нет на них...— раздумчиво протянул посадник.

— Юрьев, однако, брали без Олександра!— возразил Кондрат.

— Под Юрьев, Кондрат, вспомни-ко, сколько силы собралось! Констянтин и Ярослав с полками, Товтивил с литвой и полочаны. Новгородская земля, почитай, вся. А уверен ты, что ежель я завтра кликну рать, то все за одину встанут?

Старый Кондрат поник седою головой.

— Что князь Юрий?— помолчав, снова спросил Михаил. Кондрат пожал плечами.

— Я сейчас от него, с Городца. Юрий от Ярослава ставлен, из его руки глядит.

— Из его ли?

— Бог весть! Бают — ликуется с немцы... Только на

Городце Ратибор переветников навряд станет искать! А что бояре?

— Увидим.

— Без Елферия опеть не решить?

— Не решить без него, Кондрат. И без Миши не могу решить, и без Жирослава... Что я с одною Славной да без низовских полков против Ордена пойду?

— Молчишь ты все, Михаил,— с укором покачивая головой, возразил старый тысяцкий,— много видишь, знаешь того более... Боишься или таишься от меня, бог весть!

— Эх, Кондрат, Кондрат! Не меня тебе трусостью попрекать! Но и сам Олександр, не уладивши вперед между своими, в бой не кидался. Елферия попытаем... А ты, Кондрат, не горячись и на совете боярском тоже на меня смотри. Как я, так и ты, добро?

— Добро-то добро... Тебе не верить, так кому еще? А ежели по князеву слову решат?

— Смолчи. Приказать только то можно, что люди сами от себя захотят, тогда лишь и сделают по-годному.

— Тяжко! Владыко Далмат цто думат?

— Стар. Ветх деньми... Пойдем, икону покажу, даве принесли, Николу-угодника. Обетная, в Никольский собор, еще не святил. Высокого мастерства вещь!

— Кто писал?

— Василий.

— Хитрец!

— Мастер.

VIII

Утром того же дня, еще прежде посадника Михаила, икону ту довелось повидать и Олексе.

Выбрал наконец день побыть с семьей. По ночному подстылому насту привезли бревна и тес. К первой выти[1] Олекса успел уже сгрузить и отпустил повозников. Заплатил дешево. Веселый — впервой за последние дни — растормошил Домашу, поднял заспанного Онфимку:

— Хочешь в торг? Персидских гостей смотреть!

Онфимка запрыгал от радости.

Пошли четверыма: сам с Домашей, Янька и Онфим. Домаша повязала голову вишневым владимирским платом, щурилась на солнце. Мальчишки с утра играли в баски.

[1] Выть — еда, время еды.

Че па че,
Забили, как рака,
Изосима дурака! —

пели они хором проигравшемуся пареньку.

— Это кого забили?

— Изосимку, Хотеева сына.

— А! Колпачника! С естольких лет уже бьют...

— Онфимка, иди к нам!

— Онфиме, куда пошел?

— Мы в торг с батей! — гордо отвечал Онфим.

— Ты чего, Олекса? — негромко спросила Домаша, влажными весенними глазами всматриваясь в лицо странно взбудораженного мужа.

— Я-то? А так, вспомнилося... Пустое! Янька-то у нас красавица будет, а?

Миновали Варяжскую. Вдоль улиц, прорывами, открывался посиневший — вот-вот уже тронется — Волхово, с толпами народа по берегам.

Торг шумел разноголосо и разноязычно. Готы, варяги и немцы спешили распродать залежавшийся товар, опростать амбары до нового привозу. Однако больших оборотов еще не было. Даже мелкие покупатели торговались, придерживая серебро.

Весело любому глядеть на богатый торг, а купцу — вдвое. В прежнее время Олекса чувствовал себя на торгу хозяином. Он и сейчас остановился, повел очами и вдруг заобъяснял с непривычной издевкой в голосе:

— Мотри! Чисто улей! Али мураши! Все помалу тащат, никто с торга возом не везет. Гляди-ко! Вона, и эти, мелочь, и те по рыбинке несут, по две. Как же! Не ровен час, купишь об эту пору чего похуже, а привезут настоящий товар, будешь в кулак свистеть да на других глядеть! А расторговатьце небось кажной норовит! Свое-то продать дочиста! А что, коли б приказать, силой? Славно!

Он раздул ноздри и с нежданной угрозой повторил:

— Силой-то, а, Домаша?! «Ать куплють!» А кто не покупает — переветник, пособник врагам, и все. Свой интерес блюдет! Всё бы раскупили враз! То-то бы купцам пожива! Любую заваль нанесли: порченое, гнилое, лежалое, битые горшки, навоз — и тот продали! А потом иноземный товар на навоз менять! Ай не захотят? И приказать не́как? А? И остались бы тогда с одним навозом?

Он зло расхохотался, закидывая голову, поперхнулся, крепко сплюнул под ноги, затих. Молча пошел вперед... Домаша обеспокоенно спешила следом.

Миновали ряды возов с дровами, сеном, репой, глиняным товаром. Кислый дух овчинных шуб, конского пота и навоза мешался с огуречным запахом тающего снега. Глухо топали по бревенчатому, залитому грязью и засыпанному раструшенным сеном настилу застоявшиеся у коновязей кони, мотали гривами. С реки, от рыбного ряда, несло острым запахом гниющей рыбы.

— Какой-то ты нонеча тревожный. Али озабочен чем?— заглядывая ему в глаза, вновь спросила Домаша.— Помнишь, даве хотел начать рыбой приторговывать? Из Корелы лососей мороженых возить ладилсе?

— Сена недостанет!— буркнул Олекса.— А без своих сенов повозники, лешие, разорят. Их ить силой возить не заставишь.

Он рассеянно повел плечами, оглянулся, встал перед навалом резной и точеной посуды. Тронул каповую братину[1], положил; взвесил на руках большой, с узорной лентой надписи по краю кленовый скобкарь, обожженный в печи до цвета темного янтаря...

— Никак сам мастер?— весело окликнул Олексу мужичок, приметивший цепкую хватку Олексиных пальцев.

— Как узнал? Не, купец я,— ответил Олекса, отходя.— Кум Яков толковал...— начал он, не оборачиваясь.

— Чегой-то, Олекса?— Домаша, засеменив, догнала мужа.

— Кум Яков, говорю, толковал лонись, всего-то не понял я! Митрополита Иллариона слово о законе и благодати как-то складно изъяснял. Сперва, мол, закон, потом любовь, и что без любви закон силы не имеет... И любовь — это вроде бы как у нас, в Нове-городе, согласие, когда все вместе, словом сами и решают. А закон — это власть свыше, подчинение. Сперва приходит власть, а потом, когда научаются, тогда уже сами по себе правят... По любви. И это-то и есть благодать, в ней же высшая правда... Ты вот как со мной: по любви али по закону?

Потупилась Домаша.

— Что прошаешь — тоже грех! Чать, по закону мы с тобой!

— Тебе закон нужен.

— Там как промеж нас... а люди чтоб знали...— чуть обиженно возразила Домаша.

Олекса, вдруг развеселившись, перестал слушать. Подхватил Онфима, поднял:

---

[1] Ка́повая бра́тина — широкая чаша с низкими краями из капа (кап — нарост на березе).

— О! Гляди! Где твоя буквица? Не эта? А может, та, буковая? Али тебе кипарисовую купить? Ну-ко, погоди, сам выберу!

Поставил Онфима, запустил обе руки в товар, быстро переворошил всё, остановился на одной, вроде и неприметной, глянул, прищурился.

Можжевеловая дощечка, сверху обрезанная домиком, с тремя отверстиями для ремешка по краям и с крышкой, была как-то особенно старательно и любовно сделана. Поверху шли рядами красиво вырезанные буквы, с оборота, где буквица вынута ковчегом, уже наплавлен воск.

— Держи!

Онфим молча ухватил буквицу и обеими руками крепко прижал к животу.

— Ну, держись, Онфиме, теперь писать заставлю кажный день! И ты, Домаша, не унывай, гляди, народу-то колько! Еще не то будет, когда корабли из-за моря придут! Ну, распогодилось солнышко? Не тяни за рукав, знаю, куда ведешь, щеголиха!— рассмеялся Олекса.— Погодь маленько, глянем, как Дмитр торгует, скоро ли долг заможет отдать? Иди, иди!— шутливо подтолкнул он Домашу.— Жонкам закон нужен!

«Может, и всем?!— думал Олекса, двигаясь вдоль замочного ряда, меж тем как Янька с Онфимом кидались наперебой то к амбарному великану с узорчатыми пластинами просечного железа, нарубленного и загнутого вроде бараньих рогов, то к блестящим медным замочкам для ларцов и шкатул, в виде зверей и птиц, украшенных чернением, насечкой и позолотой.— Может, и верно, закон нужен всем нам, всему торгу, чтоб не разокрали да не разодрались? Чтоб терпели да страх имели! А то как Мирошкиничи или наш Касарик, что об одной своей мошне и печется. Потянут каждый себе, и все врозь повалится. А тут один закон, один князь, одна глава... А чего, выходит, Ратибору как раз Касарик-то и надобен? Чего ж закону подлецы-то нужны?!— Олексу вдруг бросило в жар от этой мысли.— Ратибору — Касарик, Ратибор — подлец, хорошо. Юрию — Ратибор. Ярославу — Юрий, тоже подлец. Подлец, подлеца, подлецу... Дак кто ж тогда будет самый-то на́больший?! Ему-то зачем подлецы нужны? Что спину гнут? А зачем такие, что спину гнут? Они, такие, и вашим и нашим, за векшу продадут кого угодно: друга, брата, отца родного, а ежели набольший того пожелает, и родину продадут. У холопов какая родина! А не то ли от них и надобно, чтобы

кого угодно?! Врешь ты, Ратибор, что отец переветничал немцам. Не свои ли грехи мною хочешь покрыть?!»

Домаша с тревогой поглядывала на мужа, который шел вперед, не разбирая дороги. Олексу крепко пихнули в бок.

Он опамятовался:

— Стой, пришли, кажись!

По сторонам тянулись коробьи с гвоздями и сельским товаром. Тут мужики оступили — не пробиться. С дракой шли лемехи, насадки для рал и лопат, лезвия кос-горбуш, серпы, ножи, подковы, топоры. Крестьяне яростно торговались, не выпуская из рук полюбившейся ковани, долго разматывали тряпицы с засаленными, потертыми мордками кун и белок и крохотными обрубочками серебра. Ходко шло и оружие. Шум стоял страшный.

«Нет, Дмитр внакладе не будет!» — подумал Олекса с невольной завистью.

Самого кузнеца не случилось, зато его старший стоял за прилавком, узнал Олексу, поклонился издали.

— Счастливо расторговатьце!— прокричал Олекса.— Добра торговля у вас!

— С долгом не задержим!— крикнул парень в ответ, улыбаясь и растягивая рот до ушей.

«Вот Дмитр тоже, конечно, свою выгоду не упустит! Ну-ко, я бы ему приказывал... Да нет, нельзя Дмитру приказать! Не таков человек! Убедить — можно. А что общая выгода, дак Дмитр пуще меня ее блюдет... Эх! Все бы ему железо урядить тогда... За лишним серебром погнался! И Максимка... Как это Тимофей сказал: три векши на четырех купцей разделить не можем...»

Повесив голову, Олекса выбрался из толпы.

В ювелирном ряду было тише. И сюда забредал деревенский кузнец, ладя купить дорогой колт с зернью, чтобы потом, у себя, по отдавленной восковой форме, отливать грубые подобия городского узорочья для деревенских красавиц, но чаще попадались боярышни, щеголихи посадские и молодые щеголи, что прохаживались, заломив собольи шапки, лениво выбирая сканую и волоченую кузнь и стреляя глазами на красавиц.

В негустой толпе Олекса вдруг увидал спину высокого боярина в щегольской соболиной шубе и шапке с алым атласным верхом. Шуба повернулась, наглые красивые глаза лениво пробежали по сверкающему узорочью... До боли сдавив руку жены, Олекса круто повернул назад. Домаша только ахнула (глянула тоже) и, побледнев, закусила губу. Молча, подгоняя детей, Олек-

са выбрался из ювелирного ряда. На миг бешено вперил глаза в потерянное лицо жены.

«Было у них что ай нет?! Спросить? Дурак буду! ...Вот он, закон! И жонку отдай ему, и серебро, и честь, и Новгород, чтобы Касарик грабил,— не дорого за то, чтобы одна голова наверху, и голова-то чья, Ярослава?! Добро бы еще Олександра...

Чего это я?!— одернул сам себя Олекса.— Мать бы знала, да и Домаша... В тягостях оставил ведь, на сносях была!»

Он остановился. Глянул. Домаша с отчаяньем в глазах, всем лицом, руками, движеньем головы молча кричала: «Нет! Нет! Нет!»

Бледно улыбнулся:

— Хотел я... подумал... Нездилку навестить надоть!

Домаша, как после обморока, опустила глаза, кивнула облегченно.

— Батя, поглядим вощинников!— звонко закричал Онфим. Оба опомнились.

Олекса с минуту тупо глядел, вдыхая густой запах воска, на продавцов и покупателей. Вдруг дикой бессмыслицей показалось, что люди старательно жуют воск. Продавали и чистый и с присадками: маслом, желудями, гороховой мукой, смолой. Покупатели долго жевали кусочки воска, сплевывали, стыдили продавцов, те божились, призывая в свидетели всех угодников...

Онфим уже тянулся отколупнуть от ближайшего куска.

— Али ты, Онфим, вощаным купцом заделался?— окликнул его Олекса.— Не балуй, идем!

Они прошли через вощинные ряды в «царство жонок». Каких только тканей не выставил тут напоказ Господин Новгород! От простого ижорского выдмола и до фландрских и датских сукон, венецейского рытого бархата, от вологодских суровых холстов и до персидской шелковой камки, бухарской многоцветной хлопчатой зендяни и драгоценного цареградского аксамита. Яркие цвета сельской крашенины смело спорили с переливами шелка, на темном бархате горела золотая парча. Грифоны, змеи, цветы, франкские рыцари и неведомые звери Индийской земли разбегались по узорочью разворачиваемых тканей.

Час назад Домаша задержалась бы здесь на полдня. Теперь же торопливо спешила за мужем, оттягивая Яньку, прилипавшую к каждой пестрой тканине.

В суконном ряду зашли в свою лавку. Олекса подождал, пока Нездил отпускал товар, после осведомил-

ся, как идет торговля, посмотрел записи. Нездил, маленький, невзрачный, тревожно заглядывал в вощаницу из-за локтя хозяина, торопливо объяснял...

Ни хорошо, ни худо. Олекса бросил вощаницу, не досмотрев до той записи, за которую Нездил трясся всем телом. Тот, мелко перекрестившись за его спиной, тотчас подхватил и спрятал вощаные доски — редко бывал хозяин так небрежен!

— Не успеем расторговатьце до воды? — спросил Олекса.

— Навряд.

— Завид-то расторговалсе весь!

— Завид сорок летов дело ведет, а мы начинаем только...

«Да, зря давал серебро Максиму. Ох, и ловок, плут! — горько усмехнулся, не мог обижаться на Гюрятича всерьез. — Ловок, а попал, как и я, в ту же вершу!» Задумался: «Кому бы сбыть до воды сукна? По дворам разве послать? Эх, припозднился я с товаром, всё раковорцы проклятые!»

Нездил мялся, желая еще что-то сказать. Кивнув Домаше — отойди! — Олекса нетерпеливо повернулся к Нездилу:

— Ну?!

— Ратибор Клуксович заходил! — вполголоса ответил Нездилка и заметался жидкими глазами по сторонам, заметив, как, свирепея, побледнел хозяин. — Тебя прошал, видеть хочет...

— Небось прийтить велел?

Нездил кивнул, еще больше забегав глазами.

— Ладно, моя печаль. Торговать хочет через меня... — пояснил Олекса, отворачиваясь, и про себя добавил: «Новгород князю Ярославу продать ладитце...»

Вот и пришло оно. Ждать было всего тяжельше. А так, как-то враз словно легче стало. По первости спросит, почто у Кондрата не был... Ну, теперича поглядим, умен ли ты, купец. Силой тут не возьмешь, а баять тоже всяко можно...

Выйдя из лавки, тряхнул головой Олекса, круто повернулся к жене:

— Купи, чего нать! А ты, Онфим, персиянца поглядишь!

Домаша улыбнулась робко и благодарно.

Пока она набирала зеленого и желтого шелку себе и свекрови, белил на белку, мыла — на другую белку и присматривала бухарскую лазоревую с белыми цветами хлопчатую зендянь Яньке на сарафан, Олекса, мешая

русские, татарские и персидские слова, поговорил с толстым рыжебородым купцом о путях. Тот жаловался: где-то у Хвалынского моря было размирье, и оттого стояла дороговь на все товары. Сам он приехал в Новгород за полотном, а полотно возил еще далее своей земли, в Индию.

Уставившемуся на него во все глаза Онфиму купец протянул на ладони липкую коричневую палочку с сильным и пряным незнакомым запахом.

— Вология,— старался объяснить он, показывая на рот,— кушати!

Онфимка, оробев, попятился было.

— Бери, бери, Онфим,— одобрил его Олекса.— Отведай персицкой сладости!

Поблагодарив купца, двинулись дальше. Онфим, осмелев, стал пробовать восточное лакомство.

— Онфиме, дай мне кусочек откусить!— шепотом запросила Янька.

— Не дам!

— Дай, Онфиме, я тебе баску даю, у меня есть!

Онфим наконец расщедрился:

— На!

— Кыш, кыш, Янька, Онфиме, не балуйте!— одергивала Домаша расшалившихся детей.

Олекса искоса осмотрел семейство. Уже у всех от воды раскисла обувь. Домашины цветные двухслойные выступки, как ни береглась, тоже размокли и забрызгались грязью. Куда теперь? Ему бессознательно хотелось еще оттянуть неизбежную встречу с Ратибором.

Устав бродить по торгу, он повел семью в мастерскую изографа Василия. Давно ладился заказать образ Параскевы-Пятницы доброго письма, тут собрался наконец.

В мастерской после солнечной и суматошной улицы было тихо и прохладно. Даже говорили, как в церкви, вполголоса: при «самом» остерегались шуметь, не любил. Янька и Онфим разом притихли, увидя вокруг строгие иконные лики. Веселый подмастерье, растиравший краску, подмигнул детям, кивком головы указал на мастера. Тот нехотя отстранился от работы, опустив длинные большие руки, исподлобья оглядел заказчика. Увидев детей, помягчел.

Олекса глянул на лик Николы и забыл, зачем пришел.

— Торгуй, купец!— пошутил изограф.

— Сколько?— не в тон, разом охрипнув, спросил Олекса, не отрываясь от суровых умных глаз святого под изломами кустистых бровей. Этот бы не стал сомневаться!

— Не продажна,— усмехнулся Василий,— заказ. Самому посаднику Михаилу писал! Нынче и несу.

Глубоко вздохнул Олекса, с сожалением и облегчением следя, как бережно начали заворачивать тяжелый образ в полотна. Не по достатку покупать такое... А ведь купил бы и не постоял за ценой! Любую дал, скажи только Василий... Уже и с неохотой вспомнил про свой заказ.

— Что поскучнел, купец? Параскеву?— глянул, прищурясь, остро, без улыбки, на Домашу и потом глядел несколько раз тем же пронзающим острым оком.— Параскеву...— повторил, словно размышляя.— Себе али в черкву, по обету?

— Себе.

— Ин добро.

Договорились о размерах, цене. Замялся Олекса:

— Хотелось бы, чтобы сам писал...

— Лик сам пропишу. А доличное — Репех, мастер добрый. Будь спокоен, купец, мою работу отселева и до Владимира знают.

— Посаднику-то небось и доличное сам писал.

— Посаднику! Ловок ты, купец! Будь спокоен,— повторил и вновь оглядел Домашу острым, оценивающим взглядом. Та покраснела слегка, поежилась. Вышли.

— А он так гледит, так гледит, прямо страшно!— тараторила Янька, округляя глаза.

Домаша передернула плечами.

— Цего он, правда, смотрит так?

— Кто, мастер?— Олекса хмурился и улыбался, вспоминая поразивший его лик Николы.— Его дело такое! Он то видит, что нам не дано! Это подумать-то и то трудно. Святой муж. Святой! Не просто и вообразить, а написать как? А у него, поглядишь...

«Святой муж,— повторил он про себя,— а я, ох, не свят!»

Олекса замолк и молчал до самого дома.

IX

Волхов тронулся ночью — как раз на пасху. С заранья новгородцы собрались по обеим сторонам реки. Посадничьи люди пешнями разбивали заломы, скоплявшиеся перед устоями Великого моста. Мост угрожающе трещал от натиска голубых искристых громадин. Выступившая из берегов вода подмывала бани и крайние к Волхову амбары. Лодочники с криком оттаскивали крючьями челны, спихивали наползающие на корабли ноздреватые сверкающие глыбы, и надо всем стоял ровный гулкий треск и шорох плывущего льда.

Мальчишки, совсем отбившись от рук, прыгали на ближние льдины, падали с визгом в воду. Мокрые насквозь, дрожащие, равнодушно, хлюпая носами, принимали шлепки и подзатыльники матерей, неотрывно ожидая одного: выскочить в полупросохшей шубейке и снова нестись на Волхово. Лед пошел!

Лихорадочно стучали по дереву молотки ладейников. Конопатили, смолили, не прекращая работы ни днем, ни ночью. С последними льдинами поплывут смоленые черные корабли в Ладогу, в великое озеро Нево, оттуда жерелом к Котлингу[1], а кто и дальше в Ругодив[2], Раковор[3], Колывань, Стокгольм, Готланд, Любек.

Ждут уже русские купцы на подворьях Стокгольма и Висби, ждут свои ладьи с товаром, ждут ганзейских перекупщиков; не пускает Ганза далеко русские корабли. Вспоминают старики, что прадеды далеко ходили на своих ладьях. В Дании, в Норвежской земле были русские подворья. Были, да нет. Сей год раковорцы с колыванцами — и те ладятся заступить пути Великому Новгороду... Сумеют ли только?

Быстро под весенним солнцем просыхает земля. Во дворе у Олексы весело стучат новгородские, ладные, с тонким перехватом у обуха, с широким, оттянутым внизу лезвием, на прямых рукоятях топоры. Сам хозяин, в красной холстинной рубахе, без кушака, без шапки — волосы растрепались под ремешком,— тоже с топором, сидит верхом на срубе. Отложил все печали и попеченья и — эх!— размахнись рука! Размахнись, да не промахнись. Ничего, не впервой! Веселая плотницкая работа — хоромное строение. Стучат топоры.

— Ничего, купечь, можешь! Колываньскии немцы вконечь разорят, дак к нам, в ватагу, подавайсе! На хлеб всегда заработашь!

Щурится Олекса на языкастого плотника. Вот язва! Однако рад похвале.

— Не застудись, зябко!— просит Домаша, выходя на крыльцо.

Мать, та лежит, простыла, Домаша сейчас от нее.

— Как мать?— спрашивает сверху Олекса.

---

[1] Ко́тлинг, Ко́тлин — современный Кронштадт. Река Нева в древности была шире и называлась проливом («жерело», или «устье»).

[2] Руго́див — приморский город, находился недалеко от современной Нарвы.

[3] Ра́ковор (современный Ра́квере) — приморский город между Ругодивом и Колыванью (Таллинном). Раковор и Колывань постоянно соперничали с Новгородом, пытаясь захватить выходы к морю и торговый путь по реке Нарове (Нарве) к Чудскому озеру.

— Ничего, лучше.
— Кто с ней?
— Полюжиху оставила.
— А, ну добро.

Солнце печет сквозь рубаху, а от земли все еще тянет зябким холодом. Тут и впрямь недолго простыть.

Закончив венец, спускается Олекса вниз, проходит горницей, приказывает новой девке, Ховре, вынести медового квасу плотникам.

— Что, Онфиме, без дела сидишь?

Сидит Онфимка над буквицей, пишет на старом обрывке бересто: «ба, бе, би, бу, бы, бя... ва, ве, ви...» Устал Онфимка, стал рисовать человечков: круглая голова, две палочки — руки, две палочки — ноги.

— Это кто же у тебя?

— Дружина новгородская пошла к Колываню!

— Эх ты, воин!— смеется Олекса, ероша светлую голову сына.— Наслушался умных речей!

(Сказал, и тенью пробежало по душе: иные «умные речи», как давешнюю, Ратиборову, забыть бы рад... не забудешь!)

Янька сидит за пяльцами, ябедничает отцу:

— А Онфимка и не пишет вовсе, а нам с Малушей мешает только, мы загадки отгадываем!

— Ты, Янька, одну загадку отгадала ле в жисть?

— Батя, батя, а скажи, цто тако? Нам Ховра сказала: «Ци да моци, на край волоци, хай да махай, середка пехай?»

— Сама подумай, стрекоза, для тебя и загадка. А ты, Онфиме, знашь ли?

— Не!

— Это цтой-то делают... молци, молци!— торопится Янька.— Тесто!— И смотрит круглыми глазами: угадала или нет?

Смеется Олекса:

— Портно полощут в пролубы, кичигой поддернут, да. Вот еще загадка вам. Отгадаешь, Янька, красны выступки куплю! «Бежит бесок мимо лесок, закорюча носок, заломя хвостичок!»

Посмеявшись, проходит к себе, спускается в подклет. Оглядел снасть: сверла перовидные, тесла, топоры, пилы, скобели и скобельки, стамески и долота. Выбрал изогнутый резец, потрогал острие, присвистнул, отложил, взял другой. Передернул плечом: «Эк, нахолодало за зиму!» Поднялся под крутой лесенке в горницу.

— Батя, сделай лёва-звиря!— закричал Онфимка, увидя в руках отца резчицкий снаряд.

— Будет тебе и лёв-звирь! Ну как, стрекоза, отгадала загадку?

— Это... Ну... Просто бесок, ну бес, нецистый...

— Не видать тебе красных выступков, Янька! А ты, Онфимка?

— Лодья? — боясь ошибиться, неуверенно протянул Онфим.

— Молодец! Верно угадал!

— Батя, батя, а я почему угадал, — торопится рассказать обрадованный Онфим, — даве мы варяжские лодьи смотрели на Волхово, так во такие носы!

По уходе отца он, старательно выдавливая костяной палочкой, рисует на бересте корабль с круто поднятыми кормой и носом, и на нем опять человечков: варяги приплыли торговать.

Олекса меж тем, накинув сероваленый зипун — нашла тучка, потянуло с реки холодом, — куском угля делает разметку на причелине. Прицелившись, решительно и круто взрезает дерево. Плотники, поглядывая, смолкают.

— А ты мастер, купечь, без шуток, иди к нам! На паю возьмем!

Смеется Олекса, того боле рад похвале. Стучит дубовой колотушкой, режет и выбивает, вылезает из-под резца еще грубая, неотделанная голова крылатого грифона. «Это справа, а слева поставлю лёва-звиря, Онфиму радость будет», — думает Олекса, с осторожной силой нажимая резцом, выбивает околину и заваливает края. Постукивают топорами плотники, поглядывают на Олексину работу: «Мастер, да и только!»

Не родись Олекса купцом, был бы плотником, древоделей, резал ворота да причелины, покрывал бы густым плетеным узором наличники, вереи, подзоры, столбы, сани... Ходил бы пеший на ту же рать к Колываню да лихо гулял по праздникам в красной рубахе домотканой, в желтых сапогах яловых, в зипуне сероваленого сукна... И дела бы не было до хитрых боярских козней!

— Творимиричу! Никак плотничаешь? — донесся снизу голос Максима Гюрятича. — Про братчину-никольщину забыл ле?

Разом покинула радость. Неспроста пришел. Поди, опять от Ратибора! И другу не рад Олекса. Спускается на землю, снова становится купцом.

— Про братчину как забыть! Коли уж я куны внес за себя и за Якова.

— Якову твоему пора на паперти стоять, а ты его все в купецкое братство тянешь! Много кун ему передавал?

— Не одному ему даю!— отрезал Олекса. Крепко хлопнул Максима по спине: — Пошли-ко на сени!

— Ты меня с Яковом не равняй,— чуть обиженно протянул Гюрятич,— я свое со глуби моря достану, а он с моста не подберет! За мной серебро еще ни у кого не пропадало!

— Ой ли?

— Ты что, Олекса, не веришь мне? Али брат что наплел?

— Брат, верно, тебя не любит, а что он переводником николи не был, то сам знашь. Тайностей твоих он мне не выдавал, не боись, Максим! А я что дал, то дал! Мы с тобой дружья-приятели давно были и будем. Давай сказывай, почто пришел? С делом, неделом али пустым разговором? От Ратибора, поди?

— Ратибор только напомнить велел, а я к тебе от себя самого. Ты, Олекса, не гневай на меня,— начал Максим, бегая глазами, когда вошли в сени и уселись на перекидную скамью прям волоковых окон, сейчас настежь раздвинутых ради весеннего теплого дня.— Я серебро у тебя взял, нынче всем серебро нать, я знаю. А только хочу дело предложить. Такое дело, я бы сам один попользовалсе, да перед тобой в долгу. Ворочается дружина, Путятина чадь, из Югры, меха везут. Слышно, в распуту подмокли, отдадут нипочем...

— Мало тебе было горя в немцах с подмоченным товаром, опять хочешь! Ратибор еще не в тысяцких, гляди!

— Нет, погодь, дело верное. Я отправлю без пробы, помогут — человек есть на Варяжском дворе, на кораблях. А под Раковором нападут разбоеве, товар тот пограбят...

— Как знашь?!

Максим кинул глазами врозь, повел носом:

— Человек есть верный.

— Тать, а верный?

— Тарашка.

— Ну, Максим!— только и вымолвил Олекса.

— Да нет, ты выслушай, дело-то верное! Цену возьмем с купцов немецких по «правде», по грамотам договорным, прибыток пополам, а?

— Нет, Максим Гюрятич, друг ты мне, а от того уволь! Я в татьбе не участник. Бог даст, с немцами и без того переведаемсе...

И, видя настороженный лик Максима, с которого исчезла обычная плутовская усмешка, добавил:

— Про то, что ты мне молвил, я не знаю и не слыхал того, и в роте о том стану и побожусь, коли надо, что ничего не знал!

Твердо глянул в пронзительные глаза Максима.

— Ну, спасибо, Олекса,— заторопился тот, суетясь.

— Запутался ты, Гюрятич?

— Маленько есть того, Олекса. Но я не пропаду, не боись, и серебро верну по грамоте, в срок.

— Верю, Максим, а и задержишь — я на тебя скоро объявлять не буду, сам знашь!

— Ну вот!— Максим склонил голову, покраснел даже.— Ну вот...

— Ты про братчину цегой-то хотел ле?— напомнил Олекса другу.

Максим рассмеялся мелко, встряхнулся, пришел в себя, все еще бегая глазами, начал сказывать. Дела были пустяковые, из-за них одних и ходить не стоило.

— Про все то Алюевець с Карпом урядят!— решительно перебил Олекса.— Ты лучше вот что, раз уж пришел. У Фомы Захарьича будешь?

— Пойду.

— Я сам ладил сходить, дак ты передай: я, чего он прошал, исполнил. Захарьич баял, певца нам нать доброго. Спеть-то кто не споет, а так спеть, как покойный Домажир, царство ему небесное, поискать надоть! Вышена не пригласишь, век на княжом дворе, а Терпило уж из силов вышел, не поет нынь... Люди ему говорили, Захарьичу, в Неревском конци Чупро, медника Офоноса сын, на Даньславлей улици живет, добрый певец. Я у Дмитра прошал. Говорит — люди бают, не лгут. Он запоет — тут и за́спал, и заслушался бы, из синя моря повыздынет, из темных лесов повыведет! Дак передай — можно звать без опасу. Мотри, Максим, не забудь! Фома Захарьич сильно тем озабочен. Без хорошего певца пир не в пир!

Ушел Гюрятич. Посидел Олекса, пригорюнился: «Дожил я, верно, что уж и такое предлагают... и кто!» Отдумал снова лезть на хоромину. Вспомнил вдруг, что надо Нездила проведать, товар свезти, а скоро и корелы по воде придут с железом, дак урядить с мытником, чтоб не держали разом, и мытное внести. Где только серебра взять? Да, Гюрятич, добро начали! Чем только и кончим? Утопит нас с тобой Ратибор!

— Ну-ко, Ховра, пока оболокусь, сбеги, скажи Седлилке, пусть коня запряжет!

X

Гридня братства заморских купцов, в котором состоял Олекса, находилась близ торга, на земле общинной церкви Параскевы-Пятницы.

Гридня была сложена прочно, на совесть, гладко тесана; узорные скамьи опоясывали ее по стенам, тяжелые столы способны были, не пошатнувшись, выдержать любую тяжесть. Слюдяные окна шли по двум сторонам покоя. Братчинники неспешно подымались по широким ступеням высокого, на выносе, крыльца. Входя, снимали шапки, крестились. Не переняли еще поганый обычай татарский, что владимирские бояре,— в гридне шапок не снимать. Степенно кланялись, уважая друг друга. Рассаживались чинно, оставляя привычные места запоздавшим, и не по чинам, не по богатству, а почитая ум и седины. Иные подходили под благословение священника. Разговор шел неспешный — о торге, о ценах нынешних, о дикой вире, что наложил Ярослав на купцов.

Быть бы тому раньше, входя в гридню, громко возгласил бы Олекса: «Слыхали, дружья-товарищи, что с нами делают! Что Клуксовичева чадь творит?»

Теперь же он молча, боком, пряча лицо, пробрался на свое место, стыдясь несказанных слов и самого себя. И — диво!— словно бы и прежний Олекса вошел в гридню, словно бы и сказал заветные слова,— подвинулись, отозвались участливо:

— Слыхали, Олекса Творимирич! Не тебя одного пограбили, всех поряду.

— Чего ж... Князю куны нужны, полки снаряжать...— пробормотал Олекса, опуская голову.

— Чего ж с тверичей не берет?

— Посаднику надо бить челом, он наш!

Олекса уже надеялся, что в общем шуме его позабыли. Но тут Жидислав, прознавший от Максима про злосчастную проделку с железом, весело ткнул Олексу в бок:

— Что ж ты его, Клуксовича, как даве татя, не нанял возы стеречь?

Было лет пять тому с Олексой такое дело в смоленском пути. Возвращаясь, уже за Ловатью, обоз Олексы повстречал разбойников. Ватага была невелика, а обоз порядочный, и повозники свои, новгородцы, не робкий народ. Переглянулся Олекса с Радьком, тот ненароком потянул рогатину с воза. Повольный атаман заметил.

— Ты цего? Видать, ножа не нюхал?! А ну, положь, говорю!

Медведем было пошел на Радька и — ткнулся в глаза купцу. Олекса твердо стал напереди. Горячая кровь прилила к голове: «Лембой[1] тебе платить! С мертвого возь-

[1] Лембой — черт, леший, нечистый. Употреблялось как ругательство.

мешь, коли так. Юрьев брал, а татя струшу!» Ступил тать, Олекса не стронулся с места, только весь напрягся, выгнулся, словно рысь.

— Уйди! — приказал тать охриплым голосом и смолк, задышал, приподняв дубину... Да почуял, видно, что нашла коса на камень, и, когда Олекса потянул было из ножен короткий меч, примериваясь, как рубанет вкось, как кинется потом в сечу вдоль возов, тать — тоже был умен и знал, что к чему,— вдруг отступил и расхохотался натужно: — А ты не робок, купечь! Давай мировую, што ль, сколько дашь отступного?

— Отступного?— прищурился Олекса и разом, как умел, сообразил дело: — Тут не дам ни векши, а до Порхова дорога вместе и без обмана — шесть бел. Мне под каждым кустом платить не след!

— Проводи-и-ить, значит? Умен, купечь! Десять!

— Шесть! — смелея, отрезал Олекса.— Шесть и кормлю всех в Порхове.

— Выдашь?

— Уговор дороже золота. Я еще никого не обманул! — Олекса приосанился: — Ты сам-то за своих ответишь?

— Поговорить надо.

Тати отошли от возов, спорили, совещались. Наконец атаман выступил опять вперед:

— По рукам, купечь! Слово даешь!

— Слово — железо.

Ударили по рукам.

Тать не подвел. Олекса тоже поступил честно. Под Порховом накормил всю голодную драную братию, выдал плату, распростились. Но с тех пор в обчестве нет-нет и подшучивали над ним: «Олекса татя нанял в провожатые», «А Олекса! Это тот, что татя повозником нанял?». И кому другому, бывало, нет-нет да и тоже скажут: «А ты тово, как Олекса, что татя в повозники взял!»

Через силу отшутился Олекса от Жидислава, покраснел несколько. Да! Такое бы дело — встретить Ратибора один на один! Потупился на своем месте, замолк, стал слушать, что говорят другие.

— Вот какое дело, купцы, железо дорого...

— Уж не к войне ли?

— Умен Творимирич, что скрыл возы! — шепнул Жидислав Максиму Гюрятичу.— Ох, умен!

— Слыхали, князь Ярослав ладит Юрья на Колывань?

— При Олександре мы и Юрьев брали!

— Ой ли, купцы! Слух есть, на Литву собирают рать!

— Брось, на Литву! Литва нам сейчас не помеха!

— Конечно, разгромить Колывань, да и Раковор в придачу... Тогда тебе, Олекса, на свейском железе не разжиться! По пяти-шести ветхими кунами завозят!

— Я же и завожу! — поднял голову невольно задетый за живое Олекса.— Чего по пяти — по три с половиной стану отдавать! (Колывань еще не взята, скажи хоть и по две куны, поверят! Ох, и покажет же он тогда немцам!) Свои ладьи до Стокгольма пущу!

Сказал и зажмурился аж; так вдруг представились ярко: свои черны корабли под белыми парусами по синему морю... Носы вырезные, стяги червленые на кораблях... Эх! Помотал головой, отгоняя видение.

— Михаил Федорович обещался ле?

— Прошали, сказал: буду. Кондрат тоже будет.

— Верно, что поход?

— Поход-то верно, а куда, то еще и Кондрат скажет ли!

— У тебя, Олекса, Кондрат на пиру гостил?

— У меня.

— Вот и у Марка Вышатича был на пиру и у Фомы Захарьича.

— Э, братцы, у тех, кто воском торг ведет, поди, у всех перебывал! Вощаной торг — всему голова!

— А уж и без нас не стоять Нову-городу! То справедливо ли: торговый суд, городской и всё у Ивана на Опоках?

— Досягни! Примут. Пятьдесят гривен серебра внесешь вкладного?

— Мне не то обидно, что Иваньское братство напереди, а только уж всё ведь забрали! И мытное с новоторжцев, смолян, полочан, низовцев одни они берут! Где пристань ихняя, и тут со всех пошлина! У них на братчине, гляди, сам владыка Далмат в соборе служит, дак мало того, и юрьевский и антониевский архимандриты на второй-то день! И тысяцкий опеть же в их братстве...

— Дак они и в казну городскую немало дают!

— Неча бога гневить, купцы, ладейное с гостя заморского мы берем! Да и вразнос от немца торговля вся через нас идет, да по волостям немецким товаром тоже мы сами торгуем! В иных землях не так!

— Ганза, она всюду Ганза!

— Не скажи! Тамо они сами и вразнос и по дворам торг ведут.

— Дак зато по морю далее Котлинга нашим от Ганзы ходу нет...

— Тише, купцы! Все собралися? Фома Захарьич речь молвить хочет!

Шум стихал. Фома Захарьич, степенно, оглаживая каштановую бороду, поднялся с лавки:

— Дружья-товарищи! Как рядили, торговый суд наново выбирать, что не все бывали довольны, дак много баять о том теперича без надобности, ать приступим!

— Поговорить надоть!— выкрикнул высоким, визгливым голосом из дальнего угла Еска Иванкович, приятель Касарика, самый злой сутяжник и спорщик во всем братстве.— Ты, Захарьич, того! Ты нас не обижай! Баять не о чем, и концей нет, знаю! Все знают! Всем вам Касарик не угодил!

Еска брызгал слюной, седая бородка стояла торчком и прыгала при каждом слове, маленькие острые глазки впивались в сотоварищей. Крючковатым, сухим перстом он, как копьем, тыкал издали то в одного, то в другого из гридничан, и те невольно ежились, отстраняясь.

«Сам или от Ратибора?— думал Олекса.— Должно, сам, друг Касарику первый».

Еску поддержали еще двое-трое, и по тому, легко или с трудом говорил братчинник, прямо глядел или отводил глаза, Олекса сразу понимал, что вот этот, и тот, и третий — Ратиборовы.

«А немного и набрал!— с едкой радостью подумал Олекса, считая переметнувшихся.— Хотя погодить надоть! Иные, поди, молчат до срока!» — одернул он сам себя.

Но вот наконец поднялся Максимка. (Этого ждал Олекса почти с нетерпением.) Скосил глаза в стороны, склонил голову, степенно вопрошая Фому Захарьича.

— Молви, Гюрятич!— кивнул тот.

— Тута все о Касарике...

Заметив упорный взгляд Олексы, Максим дернул длинным носом, будто отгоняя муху.

— Грешил он, бывало. Дак кто из нас без греха? Вспомните, братие, что горный наш учитель, Исус Христос, сказал книжницам и фарисеям о жене, в прелюбодеянии ятой: «Иже есть без греха в вас, преже верзи камень на ню!»

«Не тебе Христа поминать, Максим!» — в сердцах подумал Олекса.

— ...Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься!— продолжал Максим с показным сокрушением.

«Что-то ты, Гюрятич, покаяться не спешишь, да и Касарик твой такожде!» — вновь подумал Олекса.

На лавках поднялся ропот. Не один Олекса заметил несоответствие Максимкиных слов и дел.

Гюрятич мгновенно бросил глазами врозь, тотчас увильнул в сторону:

— Как мир о Касарике решит, так тому и быть, я же о Якове скажу!

«Вот как?!— вскинулся Олекса и уперся другу в глаза. Максим глядел, блудливо улыбаясь, и слегка свел протянутые ладони. Намек был слишком ясен. (Железо проклятое!) Олекса сейчас ненавидел сам себя: стало бы заплатить виру тогда. То, что взяли с него Максим с Ратибором, намного перекрыло возможную давешнюю потерю...

Олексина ку́ма Якова до сих пор не касался никто, даже Еска Иванкович. Прославленная честность Якова, а также его равнодушие к торговой выгоде (не будет, как Касарик, один свой интерес блюсти) были ведомы всем и всех устраивали.

— Якова мы знаем!— не выдержал кто-то из братчинников.

— Знаете, да не совсем! Одной честности мало, купци. Мы с немцем торг ведем, будем честны, а немец нечестен, и так уж сельди берем без провеса да поставы сукна без меры! А кто считал, скажут: короче и короче становится тот постав, и бочки прежним не чета! А всё по старине, да по пошлине, да по старым грамотам. Мы же и внакладе остаемсе! А Яков, и то еще скажу...

Тут Олекса поймал на себе настойчивый злой взгляд остановившихся и словно остекленевших глаз Максима. Теперь Максим не намекал уже, не уговаривал, а грозил. И говорил он словно для одного Олексы.

— Еще и то скажу. Плох купець, что свою выгоду не блюдет! Он и обчественную оборонить не заможет! А Яков... Ведомо ли обчеству, что на братчину куны за Якова Олекса вносил?!

Кое-кто ахнул. Зарезал, без ножа зарезал! Яков на своем месте медленно становился малиновым, стискивал губы, морщины тряслись. Не то пот, не то слеза ползла по щеке.

— Скоро он и в братстве быть не заможет,— добивал Максим, по-прежнему вперяя взгляд в Олексу,— дак мы любому нищему слепцу на торгу поклонимсе, пущай у нас, купцов, в суде судит?

Перестарался! Гул возмущения прошел по рядам от последних Максимкиных слов. Максим побледнел, почувствовавши свой промах.

Марк Вышатич встал, сведя косматые брови, одернул зипун цареградского бархата. От Висби и до Киева бегут Марковы корабли, скрипят обозы. Лавки в Твери,

Смоленске, Колывани. Максимка перед Вышатичем что комар.

— Ты, Максим, говори, да не заговаривайся! Яков нам не с торга слепец, а такой же купец! А то, что Творимирич за кума братчинное внес, дак низкой ему поклон! Так бы все мы стояли за одино, друг за друга, дак ни немци, ни Литва, ни князь, ни бояре противу нас устоять не замогли!

Марк Вышатич обернулся к Олексе и вправду поклонился ему в пояс под восхищенные возгласы братчинников.

— А я, купци, наперед говорю: Якову деньги дам без послухов и без грамоты, он сам ся разорит, а другого не продаст! Ты скажи, Олекса, кумом ведь тебе Яков, не молчи, друг! — отнесся Вышатич к Олексе, усаживаясь на свое место и усмехаясь на заискивающие похвалы соседей.

— Скажи, Олекса! Пущай Олекса речь говорит! — закричало несколько голосов.

Черен показался белый свет Олексе, когда он чужим и подлым голосом, стараясь угодить Ратибору, но все же как ни то увернуться и от прямого предательства, отвечал:

— Что я? Яков мне кумом приходит, я молчу...

Он весь взмок. Горячий пот щекотно лился по шее, и Олекса боялся утереть и боялся посмотреть на кума. Но братство упорно не желало отказать Олексе в своем уважении.

— Дружья! Яков Олексе кум, Гюрятич — друг, да и решать про Якова мы должны сами собе! — вмешался Фома Захарьич.

— Онанья, твой черед!

«Встать, — думал Олекса, — сказать все?! Как железо провез без виры, как запутал меня Ратибор? Поверят, должны поверить! А ежели нет? А докажу чем? И о сю пору, скажут, молчал почто? Поклон-от недорого стоит, а даст ли мне Марк Вышатич серебра взаймы, ежели спрошу у его? Ой ли!» И Олекса вновь опустил нераскаянную голову.

Онанья, молча гладя бороду, с минуту оглядывал братчинников, ожидая тишины. Был он книгочий, как Яков, и привержен божественному. Поэтому и начал от писания:

— Речено бо есть: «И свет во тьме светится, и тьма его не объят». Свет — истина, а тьма — лжа. Недостоить нам божественными словесы прикрывать дела лукавые и име господне употреблять всуе. Не в слове, а в духе

бог. Исус неизреченной милостью своей спас жену заблудшую, да не предстательствовал перед советом судей израилевых, чтобы ее ввели в храм закона и увенчали властью над вятшими!

Кое-кто усмехнулся. Онанья и глазом не повел. Переждал несколько.

— Ты, Касарик, гнева нам отдай, а только духом ты еще слаб и корысти подвержен, общему делу радетель плохой. Иного не скажу, и я не лучше тебя. Теперь о Якове. Лукавить с немцем каждый из нас горазд, а для суда купеческого надобен закон и судья неподкупный, сказано бо: «Верный в мале и во многе верен есть, и неправедный в мале и во многе неправеден есть». Такожде и нам надлежит помнить о том ежечасно и блюсти славу Новгорода и Святой Софии нашей, да не скажуть в иных землях: «Уста их лживы суть!» В том правда, и в правде бог! А чтобы не было котóры[1] между братчинниками, как я сам был в суде, то того отступаюся, пусть теперя иные вершат.

— Нет, Онанья! То негоже!

— Пущай будет, как мир решит!— решительно прервали его гридничане.

— Миру перечить не стану, а только знайте вси, что старостой мне негоже остатьце, да и тяжело, братие, в лета мои...

— Уважим!

— Прав Онанья!

— А в суде послужи!

— Все ли сказали, братие?— вопросил Фома Захарьич, оглядывая гридню.

— Все, все!— раздались голоса.

— Пущай жеребей решит!

— На одного ли Касарика?

— На всех!

— Всех поряду, не обидно!

Коста и Алюевиц обнесли всех берестом. Братчинники неспешно доставали железные, медные или костяные писала, выдавливали на бересте три имени. Коста вновь обошел всех с шапкой, собрал бересто. Тут же, вчетвером, стали раскладывать, прочитывая вслух.

Вновь выбрали Местяту — теперь уже старостой суда, удержался и Онанья, третьим, вместо Касарика, большинство братчинников назвало Якова. Олекса, решив испить чашу позора до дна, вписал в свое бересто Касарика.

---

[1] К о т ó р а — ссора *(старин.)*.

Но и это был не конец его мучений. Самое горшее настало, когда Яков после жеребьев пробрался к нему — благодарить.

— Ведь ты меня выбрал, Олекса!

— С чего ты, кум? Может, я Касарика сейчас написал?

— А хоть и так! Тебе верят. Был бы я Максимке кумом, не прими в обиду, не выбрали бы меня! Про тебя вон Касарик даве ябедничал, что ты немцам переветничаешь, дак никто того и в слух не взял, а Марк Вышатич ему, знашь, что отрезал? Доколе, говорит, сам Олекса о том не поведает, не поверю, а и тогда еще подумаю, поверить ле! Во как! Так что низкой тебе поклон, Олекса, и не перечь!— отошел Яков.

«Господи! Помилуй меня и наставь на путь! Дай силу на правду в великом милосердии своем!»

Вскоре появились встреченные с почетом старый Кондрат и Михаил Федорович. Начался пир.

Певец, одетый просто, в серой посконной рубахе, был еще молод, сухощав и черноволос. Небольшая бородка опушала лицо с глубоко посаженными глазами. Нос, в одну линию со лбом, как бы надавливал на узкий, подергивавшийся рот. Настраивая гусли, он шевелил краями губ, взглядывал то вниз, то вверх — на мощные воронцы, поддерживавшие потолок гридни, избегая лиц братчинников, но, видно, не волновался совсем, просто уходил в себя, собирался для дела. Наконец поглядел с чуть заметной смешинкой в глубоких, тускло замерцавших глазах на гостей, складно проиграл наигрыш — вступление к старине стародавней, прислушался, повторил, чуть приглушил струны, весь подался вперед — и запел.

В гридне становилось тихо. Голос певца не дрожал, не пресекался, ровным и сильным потоком текли звуки из его словно кованой медной груди, заполняя всю гридню до самых потолочин. Звон оружия и ржание коней, колокольный голос беды, созывающий храбрых на рать, реяли над гостями. И шумели пиры Владимировы в золотом далеком Киеве, матери городов русских, ныне разбитом и разграбленном татарами, а над кровлями узорчатых теремов киевских пролетал Змей Горыныч, раскинув свои крылья бумажные, и храбр киевский, Добрыня, скакал к неведомой Пучай-реке выручать полон русский и красу ненаглядную, Забаву Путятичну...

Примолкли гости, слушая знакомые с отроческих лет любимые складные слова. Переговаривались шепотом,

если надо сказать что. Фома Захарьич взглядом нашел Олексу, приподнял чашу, голову склонил слегка: поблагодарил за певца. Потупил глаза Олекса, польщенный: «Что я! Спросил только... Тут мир решал!» Упившийся не в меру Жировит на дальнем конце стола вдруг хватил по столу кулаком:

— Так его, Добрыня, так его!

Пролил чашу пива пенного... Только кинул глазом певец — бывает и не такое на пирах: и брань и котора,— продолжал петь.

Кончил певец, шумно благодарили гости певца, улыбался рассеянно, отдыхал. Небрежно принял чашу, опорожнил в один дух, обтер усы, глазом не моргнул — умел и петь и пить.

Вспоминали Киев братчинники, кто видел, кто бывал. Заспорили о змее. Онанья упирал на то, что погубила змеев вера христианская. Вспомнили чудо Егория о змее. Кум Яков разгорячился:

— В житии Федора Тирона...

— Что далеко ходить, а и не в житии совсем! Батя мой видел змея сам!— подал голос Олекса.— Огненный змей над Новым Городом пролетал, и многие видели! Кум Яков, ты скажи!

И Яков подтвердил, кивая:

— Во владычном летописании сказано: «В лето шесть тысящ семьсот двунадесятое, февраря месяца в первый день, в неделю сыропустную, гром бысть, его же все слышаша, и тогда же змей видеша летящь».

— Летящь!— снова выкрикнул Жировит с конца стола.

— И то к добру было, не к худу. Мстислав-князь побил чудь того же лета, в том же дне.

— Вот как!

— То не такой змей! Тот змей от бога послан!

— Змей от бога? Перекрестись, Онанья, да дома перед Спасом на коленях постой! Такое и сказать-то грех!

Певца просили спеть еще.

— Про Василья Буслаевича не надо ле?— спросил глухо певец. Говорил негромко, а пел — что труба ерихонская.

Это было что-то новое, многие и не слыхали еще. Перебрал струны певец, дождался, когда стихли, начал:

Жил Буслай девяносто лет,
Девяносто лет, да и зуба в роти нет.
С Новым Городом Буслай не споривал,
С мужиками новгородскими совет держал...

Замерли гости, кто и переглянулся удивленно. Знающие таили улыбки в бородах.

Неспешно разворачивался сказ. Тут все было свое, новгородское. И учился Васька, как все мальчишки, пяти-шести лет грамоте и церковному пению, и так же играл на улице, и дирался со сверстниками, колотил детей соседских — буен рос Васька у государыни матери...

Слушали гости, как набирал Васька дружину вольную.

— Хватало добра!

— Сам боярин, поди!

— Отец-то, вишь, с Новым Городом не споривал.

— Не в отца, да...

Будил певец память о ссорах и спорах на вече и на пирах братчинных, боях на мосту волховском, Великом. И не понять было, над кем смеется певец. То ли над купеческим братством вощинным — кто так и понял,— то ли над ними, купцами заморскими?

Дошло до боя на мосту волховском. Оживились гости.

— Ай, нипочем не передолить всего Господина Новагорода!

— Старчище каков! «Стоим, не хвастаем»,— бает!

— Уж не владыка ли сам?

— Батюшки, отца крестного!

— Во задор вошел, вишь!

— Откупились мужики...

— Так-то вот друг друга и лупим и еще любуемся тем!

— Силен! Хоробр!

Качали головами, хмурились и смеялись. И снова слушали, нехотя любовались удальцом.

— Наш, новгородский, никому не уступит!

— И дружину себе набрал под стать: Потаню да Костю Новоторженина.

— А Заолешана-то! Тех, вишь, сам спугалси!

Попадались имена знакомые — ставших уже легендою новгородских удальцов.

— Любо ли, гости честные? Петь ли еще?

— Пой до конца!

Разноголосый шум оживившихся гостей уже не стихал. Спорили, и обижались, и опять слушали. В дальнем конце было задрались, раззадорившегося вконец Жировита выводили из-за стола. Хорошо, князь в братчинной сваре не имеет части, а то бы и гривны продажи ему не миновать.

— Смотри, Олекса,— окликал через стол хмельной Жидислав,— Васька-то татю и не платил даже! Не то что ты! Шуткую, пей, чего пригорюнилси?

Смеялись купцы, когда Васька надумал голым телом купаться в Ердань-реке. Опять свое, новгородское! Отрочество, удалые проказы с девками на Волхово... Волен Васька и разгулен без удержу!

И вот гибнет Васька, сломил наконец голову, прыгая через долгий камень.

— Против бога пошел! Тут уж ему конец...

«А может, против мира!» — смутно подумал Олекса.

Иные взгрустнули даже.

Кончил певец, встал, поклонился в пояс:

— Спасибо вам, что слушали, гости дорогие!

— Спасибо тебе, Чупро!

Вряд ли знал и он и собравшиеся братчинники, какая долгая жизнь суждена этой были, что будут передавать ее мужики один другому, отец — сыну, дед — внуку, что через сотни лет доброй славой отзовется она по всей великой Руси...

Только кум Яков невесть с чего обиделся Васькиной шалостью на Ердани. Стал вспоминать хождение Добрыни Ядрейковича в Иерусалим, перечислял святые места иерусалимские, силясь доказать что-то, но уже и его плохо слушали, и сам он, захмелев, путался и то и дело терял след своим мыслям.

XI

Маленький Лука — по-домашнему прозвали Глуздыней — что-то беспокоился ночью, обдуло, верно. Вертелся, кряхтел, пробовал заплакать. Домаша без конца качала его, шепотом повторяя слова байки:

Ходит котик по болоту,
Нанимается в работу:
Кто бы, кто бы гривну дал,
Тому три дня работал...

Уговаривала:

— Батя спит! Батя устал, товар принимал, кш, кш!

Совала грудь...

Олекса спал тяжело, мотал головой, изредка скрипел зубами. Приоткрывая глаза, сонно глядел на Домашу, бормотал:

— Усыпи ты его... Али не можь? Сглазил кто, поди...

И снова проваливался в бесконечную канитель дремы-воспоминания.

Давешний разговор с Ратибором не выходил у него из головы. Боярин в бешенстве рвал и метал, узнав, что решили на жеребьях. Олекса низил глаза, мял шапку. Дожидаясь, когда Ратибор, задохнувшись, смолкал на миг, вставлял негромко:

— Сам же ты баял, что ежель мир другояк решит, не моя забота...

— Кабы я, как Максим, стал против Якова лаяться, поняли бы, что нечисто дело. Тоже не дураки и у нас!..

— Сам Максим виноват, с нищим Якова сравнил, кто его тянул за язык? С того оно все и переломилося... Вышатичу Марку сам преже прикажи, боярин...

— Слух о тебе пущу! Погублю тебя!— заярился Ратибор, въедаясь глазами в лицо Олексы.— Завтра же и объявлю!— прорычал он.

Но Олекса поднял голубые чистосердечные глаза:

— А тогда себе хуже сделаешь. Кто меня, порченого, послушает? Напереди еще не то у нас в братстве: Фома Захарьич ладитце на покой! Другого кого выбирать будут, тута я тебе боле пригожусь!

Ратибор остановился, как конь, с разбегу ткнувшийся грудью в огорожу.

— Врешь?

— Правду баю.

— Счастье твое, купец, ежели правду сказал!

— Как на духу.

— Ну... Ступай. Пошел. Помни же!

«Запомнишь и ты у меня!» — цедил Олекса сквозь зубы, перекатывая голову по мокрому от пота изголовью. Сморенный свинцовой усталостью дня, он захрапывал, но снова возникали перед ним наглые глаза Ратиборовы, и Олекса, ярея, просыпался вновь...

Домаша, не ведая ничего этого, думала, что виноват попискивающий Глуздыня, и без конца укачивала малыша.

Днем заснул немного, а сейчас опять раскапризился. Полюжиха посоветовала омыть ребенка с приговором бегущей водой и пошептать. Заснул бы только Олекса!

...Домаша поднялась до света. Неслышно прошла сени — никто не должен видеть. Замерла, нечаянно скрипнув дверью. Ежась, озираясь пугливо, босиком, в рубашке одной — так надо,— сбежала к Волхову, седому от утреннего тумана, по остывшим за ночь мостовинкам, по сизой, щекотной траве, густо унизанной жемчужной росой, по влажному песку, мимо бань и черных лодок. Зачерпнула бадейкой парной студеной влаги:

— Вы, сырые бережочки, вы, серые валючи камешочки, река-кормилица и вода-девица, все морские, волховские, ильмерьские... Воды почерпнуть не с хитрости, не с завидости, рабу божию Глуздыньке моему на леготу, на здравие, на крепкий сон...— шептала, вздрагивая от

холода, заползающего за рубаху, словно водяник ласкал ее влажными лапами своими,— вот выстанет из воды! Торопливо водила бадьей по солнцу: раз, другой, третий,— следя, как текучие струи смывают расходящиеся круги... И загляделась — сжалось сердце, будто снова девушкой о суженом гадала... А по верху тумана плыли розовые светы, и тускло и мягко светили дивные Святой Софии купола.

«А вдруг кто увидит? Грех-то!» — зябко вздрогнула, подхватила бадейку и с засиявшими глазами, темным румянцем на щеках, взлетела на гору. Запыхавшись, пробежала межулком, вдоль тына, крадучись,— не увидели бы Нежатичи, боярская чадь,— да спят о эту пору все, охальники! Вот и свой двор. Облегченно стукнула дубовым затвором калитки.

Полюжиха уже ждала с ребенком, подала Домаше. Умывала, плеща холодной водой, скороговоркой приговаривая заговорные слова, попискивавшего своего малыша, он пускал пузыри, забыв кричать, таращил глазки, лез, суча ножками...

Омыла, вытерла старой ветошкой, завернула, остатком воды ополоснула лицо, шею и грудь с разом затвердевшими от студеной воды сосками. Глуздынька, попав в тепло, успокоился, перестал пищать, жадно сосал поданную грудь. Скоро начал отваливаться, заводить глазки. Домаша накрыла ему личико, осторожно передала Полюжихе:

— Заснул!

Полюжиха понесла ребенка в дом. Домаша поднялась тоже, постояла на крыльце, послушала, как пастух играет в рожок, собирая кончанское стадо, прошла в боковушу, принялась расчесывать волосы, все улыбаясь своему, утреннему...

А над Новым Городом уже расплескивалась заря, и хрустально приветствовали солнце колокола на Софийской стороне. В доме начинали вставать.

. . . .

Весь день Олекса с Радьком принимали корельское железо. Иные ладьи останавливали прямо на той стороне, у Неревского конца,— то, что шло Дмитру,— чтобы не перегружать два раза. Прочее сгружали на Славенском берегу и свозили в амбары.

В доме стояла суета, готовили и стряпали человек на сорок.

Мать Ульяния недовольно ворчала, косясь на веселых, говорливых корел, разгоряченных работой: «Грязи-

то наносят!» Девки бегали, перешучивались с гостями — им развлечение. Домаша и стряпала и отпускала муку, солод, мясо, овощи. Отрываясь на миг, забегала к сыну поглядеть: как? Мимоходом строжила Онфима, который чуть не под колеса возов лез.

Радько и Олекса, оба измазанные, запаренные, и записывали и помогали грузить тяжелые крицы и неподъемные пруты железа, поспевали тут и там одновременно.

В Неревском железо принимали Нездил и люди Дмитра, и Олекса, беспокоясь за Нездила, не утерпел, о полдень поскакал туда верхом на жеребце — проверять записи. Радько недовольно качнул головой:

— Примут без тебя! Лучше на нашем дворе гляди! Дмитр, не боись, и сам себя обсчитать не даст!

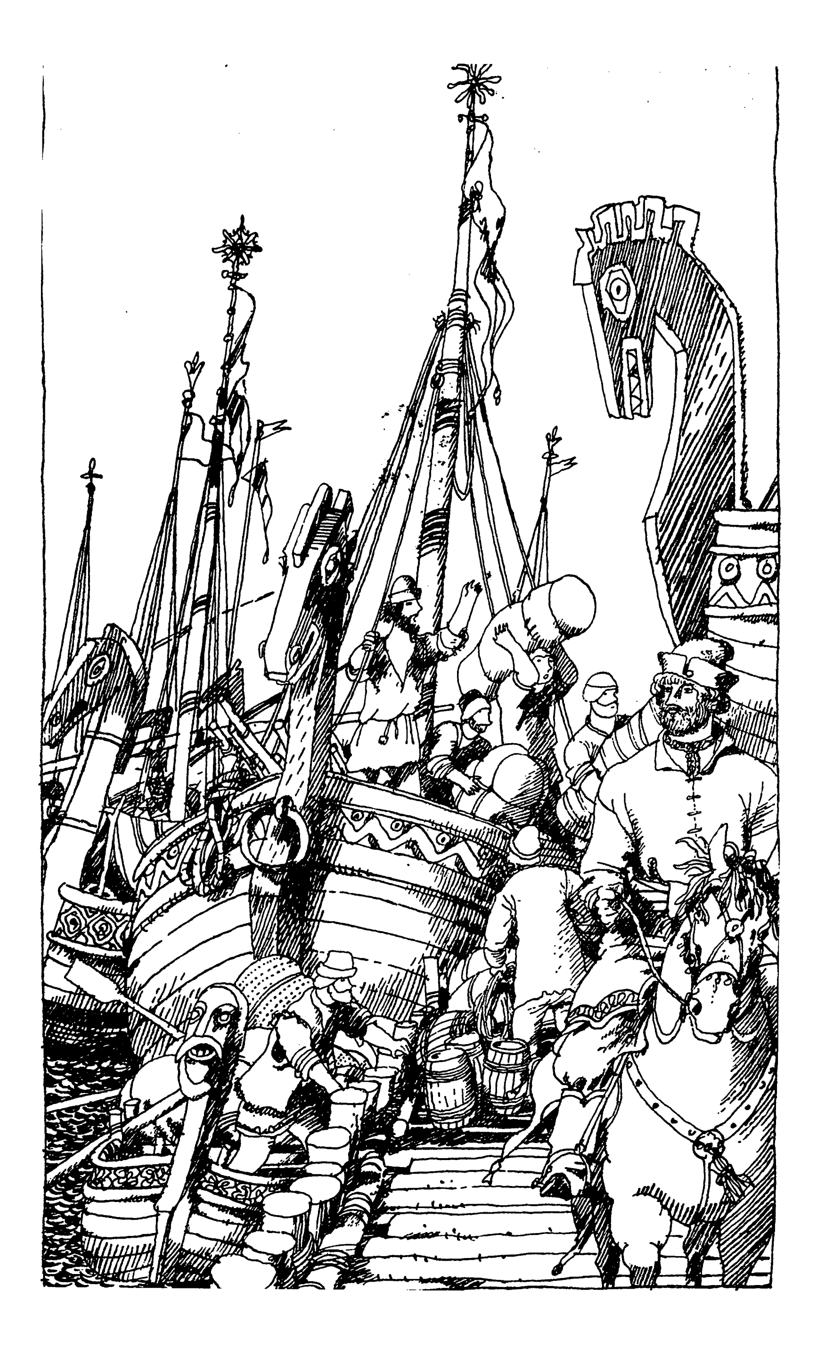
Олекса отправился все-таки. Проезжая Великим мостом, он невольно залюбовался и придержал коня.

Река кипела цветными парусами. Ладьи, учаны, челноки бороздили ее взад и вперед. Весла дробили воду в тысячи сверкающих осколков, так что больно становилось глазам, и весь Волхов казался от того в сплошной серебряной парче. На вымолах-пристанях вовсю скрипели блоки, подымая и опуская на смоленых канатах тюки фландрских сукон, полотна, двинской пушнины, кож. По сходням выкатывали бочки с сельдями и вином, грузили воск, зерно, мед и посуду. Пахло рыбой, смолой и нагретой солнцем древесиной.

Уже подъезжая к Неревским пристаням, издали Олекса увидал Дмитра.

Кузнец, руководивший погрузкой, словно вырос. Сивая борода развихрилась, потное лицо блестело на солнце, как кованое. Грозно, покрывая шум и глухое клацанье железных криц, зычал он, и тотчас бросались послушные мановению руки братчинники поднять, пособить, поправить. Красиво поворачивались на осях хитрые, смастеренные Дмитром во́роты, крицы плыли над обрывом, чередою ложась на помост, и груженые телеги шли без перерыва, одна за другой. Олекса даже прищелкнул от удовольствия.

Оба Дмитрова сына были тут; приглядевшись, Олекса увидел даже и младшего — чем-то помогал брату. Нездил, вроде бы даже и ненужный здесь, мельтешил внизу, у ладей. Олекса спустился под кручь, бегло проверил Нездиловы вощаницы. У Нездила и правда все было благополучно. Невольно Олекса подумал, что сплутовать не даст не Нездил Дмитру, а, наоборот, Дмитр Нездилу. Кивнув приказчику — продолжай! — Олекса выбрался снова на угор, полюбовался еще раз слаженной



работой подъемных воротов и, перемолвившись с Дмитром, во весь опор поскакал обратно, укоряя себя, что даром потерял два часа.

— Проездилсе? Утешил сердце молодецкое?— встретил его Радько.

— А что?

— Что!— Радько выругался по-нехорошему.— Без тебя там на въезде ось поломалась, мне ся надвое не разорвать!

Покраснел Олекса, кинулся ко двору. Разбитый воз все еще загораживал дорогу. Станята с корелом бестолково бились над ним. Тихо, сжав зубы, ругнулся Олекса, да так, что подскочил Станька, заморгал растерянно.

— Затем тебя оставил тут, ворона? А пишет кто?

— Седлила.

— Тоже мне грамотей!— бросился к воротам: — А ну, покажь!

Но вместо Седлилки встретила его Любава, смело глядя в очи расходившегося хозяина:

— Я писала. Не боись, Творимирич, не напутали!

Ожег взглядом, смолчал.

— Седлила где?

— Цегой-то?— выскочил тот, перепался, увидя яростного Олексу.

— Ось, ось запасную! Да отворяй скорее, дурак! За мной!

Ось сменили играючи. Только побуревшие лица четверых мужиков выдавали страшное напряжение. Живо накидали, как дрова, увесистые крицы... Всех загонял Олекса, сам работал, как дьявол, рубаха — выжми, а справились. Вновь двинулись один за другим тяжелые возы. Не разбирая старшинства, пили мужики по очереди квас, что принесла Любава. Домаша что-то прокричала с крыльца — махнул рукой, оборотился тылом: не остыл еще. Любава и здесь нашлась, сбегала, узнала.

— Домаша прошала, колобьи печь ли? И рыбников мало, говорит.

— Скажи, пусть печет! Корелам то любимая волога, сама не знает ли?

— Уже сказала.

— Умна, девка!

— Всегда такова!

Повел бровью, хотел пошутить, да раздумал — во двор въезжал новый воз.

Справились только к третьей выти. Уселись ужинать. В горнице, как набились мужики, сразу стало жарко, запахло мужским потом, отсыревшею обуткой, железом.

Ульяния только показалась гостям, пригласила. После сослалась на нездоровье, вышла.

— Дух-то от них тяжелый!

— Работали люди!— возразил, посмеиваясь, Олекса.

Прислуживали Домаша, Любава, Ховра и дворовая девка Оленица. Корелы за стол садились по-своему, все вместе. Немцы, те не так: господин со слугой николи за один стол не сядут, а этим, наоборот, обидно, коли не вместях. Больше за столом людей, больше почета.

Иголай, Мелит и третий, новый,— его звали Ваивас — сидели во главе стола. Красная и синяя отделка на одежде, серебряные головные обручи и наборные узоры широких корельских поясов с коваными сквозными фигурками птиц и дорогой оправой поясных ножей показывали их знатность. Среди прочих ближе к началу стола посадили старика в простой холщовой одежде, к которому все меж тем относились с особым уважением. Девки уже раньше приметили, что корелы не нагружали его тяжелой работой.

— Тот-то кто таков?— шепотом спрашивала Ховра.— Будто и не набольший, по портам-то поглядеть!

Любава объяснила:

— Певец ихний, всегда берут, на пути ли, на промысел.

— И сегодня запоет?

— Сегодня нет, устали все. Вот отъезжать будут, тогда услышишь. А чего тебе? Ты по-корельски не разумеешь.

— А хозяин?

— Олекса-то? Он какого только ясака не знат, спроси!— похвастала хозяином, а самой словно обидно стало. Почему она не на Домашином месте? Уж сейчас бы у печки да кладовой, как та, не боярилась, товар приняла бы лучше кого другого!

— Которая хозяйка твоя?— спрашивал меж тем новый корел, Ваивас, у Олексы, переводя глаза с Любавы на Домашу.

— Домаша, покажись!— звал захмелевший Олекса.— Вот хозяйка моя!— продолжал он по-корельски, привлекая Домашу одной рукой и похлопывая по бедрам:— Гляди!

Снова перешел на русский:

— Ваши-то не такие, видал я, куда!

— Добра баба! Большая, красивая!— хвалил подвыпивший корел.

— Торгуй!

— Сколько просишь?— подхватывая шутку, подмигнул корел.

Потупилась Домаша. Знала, что играет Олекса, лукавит, обхаживает нового гостя: не перехватили бы другие купцы; давеча вон нож подарил, укладный, с насечкой золотой и серебряной рукоятью. Знала, что надо и ей приветить корела, а переломить себя не могла. Не нравился ей сейчас Олекса — будто и впрямь жену продает, все нажива на уме!

— Пойду стелить гостям, пора.

— Поди!— охотно отпустил Домашу Олекса и подмигнул: — Пошла вам постелю стлать!

Гостям натащили соломы, застлали попонами. Корел клали в сенях и на лавках в горнице. Ваивасу, Иголаю и Мелиту постелили особо.

Весь другой день, поднявшись чуть свет, до петухов, отпускали товар корелам. Олекса изо всех сил старался все, что надо, достать сам, чтобы не тратить серебра. Сидели впятером: он, Радько и три корела,— торговались долго и упорно. Кричали, ссорились, улаживались, сорок раз били по рукам. Наконец урядились во всем. День еще отдыхали корелы. Ходили по Нову-городу, отстояли службу в Святой Софии, толкались на торгу: закупали, что нужно и не нужно,— глаза разбегались от обилия товаров, со всех земель свезенных на новгородский торг.

Вечером парились в бане, а после того устроили отвальный пир. Все домашние Олексы собрались тоже — охота было послушать певца. Зашла и мать Ульяния, немного понимала по-корельски — муж и сын торговлю вели.

Домаша подсела к Олексе. Янька и Онфим шмыгнули в горницу, залезли на печь, притаились.

Старик рунопевец долго молча перебирал струны кантеле, наконец, раскачиваясь, запел.

— Про что он?

— Про храбра своего, как в полуночную землю ездил. У них там по полугоду ночь, одни колдуны живут!— объяснил Олекса, вполголоса переводя непонятные корельские слова.

Домаша слушала певца, как обычно, полураскрыв рот. Старик пел все громче и громче. Лица корел разгорячились, глаза сверкали. Там и тут раздавались гортанные возгласы, иные взмахивали руками, словно рубя мечом. Вздрогнула Домаша, вспомнила, как три года назад, так же вот, приезжали корелы и раскоторовались на пиру, и один, смуглый, сухощавый, с жесткими глазами, озираясь исподлобья, вскочил на напряженных ногах, рвал

нож с кушака, его держали за руки, уговаривали, и все ж на миг показалось — вырвется, кинется с визгом, сузив недобрые горячие лесные глаза, и пойдет резня.

— Злые они! — говорила Домаша потом, ночью, в постели, прижимаясь к Олексе.

— Чего злые! Обидели приятели его...— лениво отвечал Олекса, уходившийся за день.— И у нас чего не случается. Бывало, в бронях сойдутся на Великий мост, в оружии, да. Спи!

Уснул, как в яму свалился, а она еще долго вздрагивала, вспоминая черные, бешеные глаза сухощавого.

Отправив корел, отдыхали целый день. Жонки мыли горницу, сени, добела отдирали дресвой захоженное крыльцо.

Олекса с Радьком сидели, считали выручку.

— Теперь с сенами управить...

— Да с сенами. Петров день подходит!

Достали шахматы, неспешно передвигали шашки[1], подлавливая один другого. Шахматы у Олексы были завидные, щегольские, боярским под стать. Не чета тем, деревянным, что у всякого подмастерья в коробьи. Тавлея, доска шахматная, расписана в клетку золотом и серебром, шашки тонко точенные, слоновой кости, с ладными, ступенчатыми ободками, маковки то черненые, то золоченые, чтобы видать в игре, какие чьи. Коней и ладьи Олекса резал сам. Крохотные кони, как живые: под седлами, гривы в насечку, шеи дугой, а вершковые ладьи того лучше: выгнутые, на граненых ножках, с четырьмя воинами на носу, корме и по краям. Давно как-то видел такие же в Полоцке, загорелось и самому сделать.

Первые ходы пешцами ступили одновременно. Олекса разом вывел слонов и коней, устремился вперед. Радько жмурился, как кот, крутил головой:

— Ты, Олекса, тово, не шутя стал поигрывать!

Отбился пешцами, предложил жертву, подлавливая Олексину ладью. Олекса проглядел, дался на обман. Теперь Радько начал наступать. Олекса защитил цесаря ферзем, разменял слонов. Думал уже, что одолевает, захвастал:

— С Дмитром бы сейчас сыграть!

— Ну, Дмитра легче на железе провести, чем в шахматы... Тебя не Ратибор ли окрутил? — пробормотал он вдруг, внимательно разглядывая фигуры.

— Чего ты?! — вскинулся Олекса.

---

[1] Ш а ш к и — так называли шахматные фигуры.

Радько будто не слыхал вопроса, но, уже берясь за ладью, вымолвил:

— Тимофею скажи. Скажи Ти-мо-фею...— и, резко выставив ладью, хитро глянул на хозяина: — Вот так!

Олекса медленно краснел, а Радько уже напустил на себя безразличие:

— Эки жары стоят!

— Одне жары.

— Отдаю, опеть отдаю...

Раздумывая о сказанном, не заметил Олекса новой угрозы. Взял вторую ладью у Радька, ферзя взял и тут-то и попался.

— Шах и мат кесарю!— рассмеялся Радько, довольный.— Это тебе не с немцами торговать!

— Ну, давай по второй.

В этот раз Олекса играл осторожнее. Подолгу обдумывали ходы, беседовали.

— Да, немцы... Кабы им торг по дворам не запрещен, так съели бы нас совсем... («Сказать или нет Тимофею? Чует что-то Радько, а может, уже и знает, да молчит!»)

— Не съедят! Без Нова-города пускай поживут-ко...

— Немцам, гляди, тоже серебро занадобилось. Али разнюхали, что война будет? («Скажу! Только покос отведу сперва».)

Вторую заступь выиграл Олекса. Третья заступь, решающая, тянулась долго. То один одолевал, то другой. Олекса таки проиграл, заторопился, опять не заметил хитрой ловушки, расставленной Радьком. Да и совет Радьков не шел из головы, мешал мудрить над шахматами.

— Все же ты еще молод, глуздырь, не попурхивай!— с торжеством произнес Радько, прижимая Олексу.— Мат! Ну-ко, лезь под стол!

XII

В доме готовились к покосу. Бегали, считали, увязывали лопотину, снедь: мало не всем домом собирались выезжать. Нынче Олекса принанял еще десять четвертей, решил — справлюсь. Дешевле было заплатить боярину откупное и самому ставить стога, чем зимой в торгу выкладывать куны за каждый лишний воз сена. А расход сенам у Олексы был велик. Во всю зиму и свои и чужие на дворе, да и в пути повозники с купца не сдерут лишнего, коли он со своим сеном.

Дети носились по дому как угорелые, им праздник. Олекса самолично смастерил маленькие грабли — грабловище с прорезным узором — для Яньки. Домаша укла-

дывалась просветлевшая, помолодевшая — хорошо летом в лугах!

Покос уравнивал в состояниях. Косили все. И сосед-повозник, горюн с шестью дочерьми, промышлявший на одной лошади и униженно прошавший Олексу каждую зиму, не будет ли какой работы, сейчас весело окликал:

— Творимиричу. Когда косить заводишь?

И Олекса, как равному, отвечал:

— О Петрове дни начну!

Сено одинаково нужно всем, у всех для дела те же косы-горбуши, тот же дождь али погода падет с вихорем — у всех равно погниет или разнесет сена; потому и софийский летописец каждое лето записывает, хорошо ли с сенами. Неравны разве только доли покоса...

Радько уже поскакал в деревню рядить баб да мужиков-косарей. Платил Олекса не скупо (это у боярина главный доход с земли, так и жмется), знал, на чем взять, а где и показать себя, и шли к нему охотно, было из кого выбирать работников.

Сам Олекса в это время доулаживал торговые и домашние дела. Мать Ульяния все еще недужила. Посиживала в горнице, кутаясь в пушистый пуховый плат, торопилась окончить обетный воздух. Упорно, несмотря на болезнь, выбиралась в церковь. Поддерживаемая Полюжихой, отстаивала долгие службы, а потом пластом лежала — от слабости кружилась голова.

Олекса, лишенный помощи матери, сбивался с ног. Как всегда, всплывали неожиданные дела. Давеча от Василия, иконописца, прибежал мальчишка, передавал — готово. Поморщился Олекса: не ко времени! Все же оболокся, пошел. Василия самого не было, и отроки-подмастерья резвились, пихали друг друга, хохотали.

«Ишь кобели, обрадовались, что хозяина нет!» — неприязненно подумал купец.

— Где-ка мастер?

Вышел старшой:

— Я за него!

Не дослушал Олексу, кивнул, вынес икону.

— С мастером урядились о цене?

— Преже дай глянуть.

Старшой поставил образ на треногий подстав, отодвинулся. Смотрел Олекса и постепенно переставал слышать шум. Параскева глядела на него глазами Домаши, промытыми страданием и мудрой жалостью. И лицо вроде непохоже: вытянут овал, удлинен на цареградский лад нос, рот уменьшен... Прибавил мастер лет — и не старая еще, а будто выжгло все плотское, обыденное; уш-

ло, отлетело, и осталась одна та красота, что живет до старости, до могилы, когда уж посекутся и поседеют волосы и морщины разбегутся от глаз,— красота матерей и вдовиц безутешных.

— Вота она какая!— прошептал не то про Параскеву, не то про Домашу. Поднял глаза: — Лик сам-от писал?

— Сам хозяин.

Застыдившись — не уряжено, и жалко платить сверх прошеного,— прибавил мелочь. А! Не каждый день такое! Покраснев, доложил. Подал старшому. Тот принял спокойно, будто знал, что так и нужно.

— Ты передай!— насупился Олекса.

Усмехнулся старшой:

— Будь покоен, купец! Дай-ко, заверну.

Полдня Олекса ходил хмурый, злой на себя, огрызался, стро́жил, кого за дело, а кого и так, походя.

Подымаясь со двора, в сенях наткнулся на незнакомую девку лет десяти.

— Ишь! Ты тут чего? Чья така?

Та, как мышь, прижалась в углу, исподлобья глядя на Олексу, сжимала в руке что-то.

— Цего у тя? Дай сюда!

Девчонка заплакала. Олекса чуть не силой вырвал из потной ручки свиток бересты.

— Грамотка?

В глубине сеней вздохнули.

— А ну, брысь!

Посланка стремглав кинулась к выходу.

— Ктой-то там? Выходи! Ты, что ль, Оленица?

Девка застыдилась, закрыла лицо рукавом. Развернув бересту, он прочел вслух: «От Микиты к Оленицы. Поиди за мене. Яз тъбе хоцю, а ты мене. А на то послухо Игнато...»

Глянул. У девки тихо вздрагивали плечи. Осмотрел ее с удивлением, прежде и замечал-то мало: все на дворе да в хлевах. Может, и тискал когда в сенях ненароком, без дела, так, озорства ради... Девка рослая, здоровая, что лошадь добрая; грубые большие руки, под холщовой рубашкой торчат врозь, чуть отвисая, спелые груди... Силой отвел руку с дешевеньким стеклянным браслетом от заплаканного круглого, широконосого, в веснушках лица, с белесыми, грубо подведенными бровями.

— Эх ты, дура глупая! Кто таков?

— Мики-и-ит-ка... опонника сын...

Прищурился, вспомнил: «Ба! Не самый ли бедный мужик на всей Нутной улице!»

— Петра опонника?

— Его.

— Пятерыма одной ложкой шти хлебают, чем жить будете?

Осмелев, раз не бранит господин, девка ответила:

— Максим Гюрятич обещался взять в повоз. Микита ему мешки таскал давно. Еще и платы не дал... (И здеся Максимка поспел!)

Ответил жестко:

— Я Максимовы дела знаю лучше твоего Микиты. Никого он не возьмет. Своих-то сумеет ли прокормить еще! Да и про себя спроси: я отпущу ле?

Девка дрогнула, заморгала потерянно. Уставилась на Олексу, боясь поверить своей беде.

— Летов-то сколько?

Ответила чуть слышно, вконец оробев. Да, перестоялась девка, а ничего, добра! Ишь кобылка, что грудь, что бедра. Если на сенник завести да пообещать серебряное монисто купить, навряд долго упираться будет. Поплачет опосля по своему Миките — и дело с концом. А там станет блодить то с тем, то с другим да бегать к волховным жонкам плода выводить.

Посмотрел еще раз на девку с прищуром, обвел взглядом с ног до головы, глянул пристальнее в глаза. Заметил, как перепугалась, перепала вся, побелела, жалко опустила плечи. Понял, чего ждет, и, поведи ее сейчас хозяин, даже противиться не будет... Ежель только не побежит потом на Волхово топиться со стыда.

— Эк ты, дура! Вот что: скажи своему Миките, пущай ко мне придет. Погляжу, каков молодец, может, сам наймую!

Вспыхнула девка, засветилась вся от радости. Взял шутливо за плечи, хотел поцеловать напоследок, да сдержал себя, только подтолкнул да шлепнул легонько по твердым ягодицам:

— Беги, пока не передумал! Да постой, возьми грамотку-то. Тебе писано, не мне!

Усмехнулся еще раз, провожая зарумянившуюся девку глазами, прошел в горницу. Взгляд упал на икону Параскевы, что смотрела не то скорбно, не то чуть улыбаясь. Передернул бровями, отвел глаза.

«Парень, кажись, добрый. Наймовал как-то однажды, ежели тот самый. Коли покажется, возьму на покос. За девку и даром отработает! А там как знать, может, и совсем оставлю. Подарю им старый амбар, что назади дво-

ра, перевенчаю. Пущай живут! Запишу в закупы. И мне выгода, и им радость — все ж свой угол будут иметь. А икону сегодня ж и освятить надо, на покос грех такое дело отлагать! Станьку пошлю».

XIII

Выехали с полуночи, чтобы не ночевать в пути и к вечеру быть уже на месте.

Домаша сидели на первом возу, кутаясь в епанчу. Маленького держала на руках. Малушу, сонную, положили на дно короба. Янька и Онфимка отчаянно боролись со сном, то и дело клевали носами, валились друг на друга. За первым возом шел второй, на котором правил Радько, прискакавший поздно вечером с известием, что все готово и можно выезжать. На третьем возу примостились новый парень Микита и Оленица. Олекса взял его — парень, кажется, был смышлен и не избалован.

Оленица, полная такого счастья, что начинала кружиться голова, привалясь к любимому, шепотом, полузакрыв глаза, спрашивала:

— Сказал хозяин?

— Ничего. «Поработой,— говорит,— пока из хлеба, пригляниссе — возьму».

— Возьмет! Он добрый, если ему занравитце кто. Ты постарайсе, Микита!

— Оленка моя! Лишь бы взял, уж я ему... В закупы только неохота писаться.

— А цто, может, приказчиком станешь, там и выкуписсе. Радько вон тоже был...

— Тамо стану ли, нет, а закуп не вольный целовек!

— Не у боярина, чай, у купця!

— Да и не обещал толком, может, проработаю, только порты перерву, и с тем — прощай!

— Бог даст, не сделает так, не омманет... Ладо мой!

— Оленка моя!

Своротили на Рогатицу. Напереди тянулись еще чьи-то возы, сбоку, из межутка, тоже выезжали.

— На покос?— негромко окликнул Радько.

— Вестимо!

Миновали Рогатицкую башню. Решетка ворот была поднята. Сторожа бегло осматривали возы, больше для порядку — не везут ли запретного товару отай.

Старшой, глянув, махнул рукой:

— А, сенокосьцы, пропущай!

Дорога побежала полем. Мерно покачивались возы, уснули дети, задремывали взрослые. Радько улегся на дно досыпать, лошади сами бежали за первым возом.

Домаша, привалясь к коробью, то и дело роняла голову на грудь, боясь уронить, крепко прижимала маленького.

Меж тем небо леденело, яснело, светлыми проломами в уснувших по краю неба ночных облаках и зеленым огнем подкрадывался рассвет. С полей подымался туман.

До света, не останавливаясь, проехали Волоцкий погост. Миновали Любцы, Княжной остров, Тюкари, Гончарное. Уже брызнуло солнце, загорелось самоцветами в каждой капельке росы, приободрились лошади, протяжным ржаньем приветствуя зорю.

В Тяпоницах сделали привал, кормили лошадей. Олекса слез с воза, разминаясь, зевая во весь рот. Ночью не хотелось спать, теперь, на угреве, задремывал. Солнце быстро высушивало росу. Выспавшийся Радько весело толканул Олексу под бок:

— Цего закручинилсе возле молодой жены?

Домаша сонно улыбнулась с воза.

Завернули за амбар справить малую нужду. Спустились к речке. Скинув рубахи и сапоги и завернув исподние порты, зашли в бегучую студеную воду. Поплескались, фыркая, покрякивая от удовольствия.

— Почем парня нанял?

— Из хлеба.

— Как сумел?

— Да, вишь, к девке нашей, Оленке, подсватывается.

— К Оленице? Ну, выпала девке удача!

— Знаешь ли его?

— Как не знать, парень добрый, бедны только, а работник — хоть куда! Лонись на пристань я его брал: кадь ржи один за уши подымает и не ленив.

— Ну!

— Так что держи, не выпускай, Олекса!.. Ай, Оленица, что за парня обротала! Ай, девка, ай, телка, какого тура привела!

— Я сказал — погляжу еще, каков работник, тогда решу, оставлю у себя ай нет.

— Обещай сразу, лучше работать будет!

— Сам не стану, слова своего не переменю, а ты, Радько, намекни.

— Добро.

Закусили хлебом с молоком, что вынесла молодая брюхатая баба.

— Вы чьи, Жироховы?

— Были Жироховы! А нынце монастырские, Святого Спаса на Хутине. О прошлом лете подарил нас боярин, продал ле, мы чем знам. Бают, на помин души родителя своего.

Озорно кивнув на вздернутый живот, Олекса спросил:

— И часто вы его с мужиком поминаете?

— А не чаще твоего! Вишь, сколь наделал, на возу сидят,— нашлась баба.

Олекса с Радьком захохотали, отходя.

— Ну, трогай!

Возы заскрипели дальше. Перебрались через ручей, въехали в лес, еще свежий, не просохший с утра, в ярких полосах и пятнах солнечного света, в птичьем звонкоголосом щекоте. В молодом сосняке спугнули сохатого: кинулся, ломая ветви, в сторону от дороги, бестолково топоча, и разом как стал — стихло все. Заяц перебежал дорогу. Любопытный, встал столбиком, разглядывая с безопасного расстояния обоз. Онфим с Янькой запрыгали на возу:

— Заяц! Заяц!

— Где?— вертела головой только что проснувшаяся Малуша.

Янька схватила ее за щеки, стала поворачивать лицом в ту сторону, где сидел косой.

— Вона! Вона! Видишь?

Заяц наконец испугался крика, стрельнул в частый ельник.

Пошли перелески с веселыми, в светлом наряде, березками. Янька и Онфим соскочили с воза, побежали лугом наперегонки. Домаша тоже сошла, пошла рядом, разминая ноги, глубоко и радостно вдыхая медовый настой трав.

— Гляди, Олекса, краса-то какая!

— Да, добрый год! Сена-то, сена уродились в лугах! Коню по грудь! Небось пожалеет боярин, что не своими мужиками скосил. Я ж ему заплатил за сорок четвертей, а мы... Слушай, Радько, по полуторы заколи́ны этого сена станет?

— Ежели такая трава скрозь, то и по две!

— Вот, Домаша, вдвое прогадал боярин! Рассчитывались-то мы с ним — четверть по заколине!

— Я не о том, Олекса... А хорошо-то как! Дышится легко!

— Да...

Замолчали.

Тонко звенели насекомые над пестретью трав. Облака, истаивая, висели в жарком небе. Только и было слышно, как, с хрустом приминая сочные травы, ступают лошади да поскри́пывают, кренясь на водомоинах, груженные припасом и снедью возы.

Миновали еще две деревни. Дневали. Утомившиеся дети снова забрались на возы. Солнце уже низилось, ког-

да за негустым перелеском открылась широкая пойменная луговина. От реки, от раскинутых шатров, окликнули. Радько отвечал, и скоро повозки окружили мужики, иные в полотняных куколях от комаров, и любопытные бабы. Распрягли лошадей, принялись ставить шатры. Новый парень, Микита,— Радько дорогой отводил его в сторону и шептался,— старался больше всех, то и дело заглядывая в глаза хозяину. Олекса кивал рассеянно, не до него было.

Наконец поставили шатры, развели костры-дымокуры. Бочку пенного пива — угощение на конец работы — зарыли в землю. Натащили еловых лап, подсохшей травы, постелились.

Олекса прошелся еще вдоль костров, перемолвился с мужиками, поговорил с жонками, которые сами окликнули его:

— Що, купечь, со своей приехал? Али наши бабы нелюбы, али дома одну оставить боиссе?

Жонки дружно расхохотались. Олекса подсел к их костру, побалагурил маленько, за словом в кошель не лез. Встал, махнул рукой:

— А ну вас, свяжиссе, еще с женой разведете!

Провожаемый смехом, ушел к своему шатру.

— Спать! А то зорю проспите!— прикрикнул старик косарь на расшумевшихся жонок.

Олекса пролез в шатер, тщательно подоткнул рядно у входа, чтобы не напустить комаров. Домаша спала или притворялась — всегда ревновала его к сельским жонкам. Улегся и уже задремывал, когда не выдержала, круто повернулась, прижалась к нему, потянула его руку, чтобы обнял. Усмехнулся Олекса, расцеловал Домашу:

— Спи!

Еще полежал маленько, слыша, как бьется сердце у жены, посапывают дети, поют комары, пробившиеся под полог шатра, да шумит река в стороне, и не заметил, как заснул. Будто в тот же миг разбудил его старик, староста покосников:

— Вставай, хозяин, время!

Домаша вскочила, заторопилась виновато — разоспалась на свежем сене!

Все было бело от росы, река струилась, невидная в тумане. Ополоснулись, испили водицы и так, натощак, подхватывая горбуши, стали выстраиваться в ряд.

— Почали! С богом!

Первый шел Радько, низко нагибаясь, широко расставляя ноги в кожаных поршнях[1]. Взмах, другой, впра-

---

[1] П о́ р ш н и — легкая летняя обувь, род кожаных галош.

во, влево, вправо, влево: в обе стороны валится срезанная трава. За ним двинулся мужик из местных косарей, за ним Станята, Олекса четвертым, пятым шел новый парень, Микита. Старик покосник вел своих косарей с другой стороны.

Скоро поднялось солнце, пот начал заливать глаза. Наконец разогнулись! Ух! С отвычки нешуточно ломит спину, руки и ноги гудят от работы.

— Снидать!

На кострах уже булькала уха из свежих, с вечера наловленных стерлядей. Жонки резали хлеб, разливали уху в мисы, выкладывали рыбу на кленовые продолговатые подносы, с четвероугольными краями.

Ко второй выти Олекса поменялся местами с новым парнем. Микита наступал ему на пятки. Парень был, и верно, силен, а в работе неутомим. Задувал ветерок, и к пабедью бабы уже тронулись цепью ворошить траву. Домаша шла со всеми. Отдыхая, мужики точили лезвия горбуш, измеряли на глаз пройденные прокосья.

Отобедав, начали ставить стожары.

— Стожары нынь надо теснее становить, трава добра!

— Микита где?

Микита скоро показался из лесу с охапкой нарубленных пориц.

— Поди отдохни, парень!

Тот мотнул головой: не устал!— и снова ушел в лес.

— Бог даст, еще два дня постоит таких, стоги метать начнем!

Дни летят на покосе — не оглянешься. Только ноет спина после целого дня в наклонку да растут стога.

Лето стояло завидное. Небольшой дождь перепадет, тотчас просохнет на ветерке заблестевшая трава. Сено получалось духовитое, пышное. Косит Олекса в серой рубахе посконной, косит, разогнется, оглянется вокруг — весело идет работа! Вечером — ловить тайменей. А то в полдни, когда повалятся отдыхать мужики, спугнет купающихся баб, притаясь за кустами. С хохотом разбегаются они в чем мать родила, завидя Олексу.

— Поди, охальник! Жонка заругает!

А то набросятся кучей: купать. Тогда давай бог ноги! Закупают — отпустят чуть живого.

— Яровитый до баб,— поварчивают старики косцы.— Доколь в ларь не положат, все будет бегать! Детей цетверо никак, и жонка рядом, ништо его не берет!

Подслушал Олекса ненароком, усмехнулся: когда и подурить, как не на покосе. Ништо!

Домаша то сердится, то сама начнет играть, дурачиться, бегать с парнями,— поглядывает Олекса, вроде и ухом не ведет, а глазом-то косит, вздрагивает носом — тоже ревнует. Поделом ему!

Косит Олекса, разогнется, поглядит, как Домаша, замотав лицо платком, идет в ряду баб, почти неотличимая от прочих. И как-то по-новому, проще и ближе, становится она. Уже не Завидова дочь, а простая баба детная, своя... Эх, не будь воли боярской да недородов, так мужиком еще и проще жить! Все ясно, как этот день, и известно наперед. Разве ворог нагрянет — ну дак лес рядом. Или пожар — дак опять же лес рядом. Топор в руки — и пошел! Была бы только сила в плечах...

На стану сядет покормить Домаша, улыбнется мужу.

— Устала?

— С отвычки немного... ничего!

— Хошь, купим землю, в житьи запишемсе?

Покачала Домаша головой.

— Ох, Олекса, был бы ты просто мужиком, а я бабой...

— Ну и клапялись бы мы кажному боярскому выжля!— неожиданно зло, вспомнив Ратибора, вскинулся Олекса, развалившийся было на траве, и поник, закусил травину, добавил глухо: — Слишком много власти над мужиком... Воля дорога!

— Воля... Дак у тебя тоже нет воли. Копим и копим куны, а на что оно?

— Как на что?— вскинул голову Олекса.— Власть! По богатству и почет и уважение. Вона, смотри, Микита,— чем не парень? Еще и получше меня! А свистни я — собакой подползет. Потому — беден.

— И батя тоже... копит и копит!

— Ну, Завид, тот жить не умеет!

— Ты умеешь, за бабами только и бегаешь. Мужики смеютце, мне стыд... Дети видят!

Отвернулась. Поскучнел Олекса. Права жонка! А бабы ядреные, шалые, как тут устоишь?.. Нет, полно! Да и в Новгород пора, нужно с Тимофеем поговорить. Он прижмурился, представив, как будет срамить его и что скажет ему старший брат. От Клуксовича все равно не набегаешься!

Решил, наутро оседлал коня, простился с Домашей. Та поглядела, поняла, не удерживала, только поцеловала взасос, долго-долго, пока дыхание не пресеклось. Переводя дух, глаза отвела:

— Любавой там не займуйся.

— У Станьки отбивать не буду.

И Радько одобрил:

— Поезжай, двоима тут делать нечего. Еще ден шесть, бог даст, дожди не падут — доуправимсе.

Прослышав, что едет Олекса, приковылял старик сосед, что косил рядом.

— Грамотку не свезешь ле?

— Давай.

Тот долго, морщась, выцарапывал послание. Отдал бересто, заковылял прочь. Радько повел глазом вслед старику:

— Беспокоитце все, как там без него невестка ся урядит! От Торговой его второй дом.

— А, знаю!— уже безразлично, думая о своем, отозвался Олекса. Сунул бересто в полотняный кошелек и поскакал.

XIV

Гудит колокол на Торгу, на вечевой площади. Князь Юрий волею великого князя Ярослава Ярославича объявляет поход на Литву.

Спрашивают ратманы Колывани:

— Правда ли?

С немецкого двора спешат тайные гонцы.

— Да, правда, на Литву. Так узнано со двора князя Юрия, свой человек в княжой дружине, приближенный самого Юрия, верно говорит.

— Да, новгородцы многие хотят к Раковору, но поход на Литву.

— Да, на Литву,— сообщают в Любек послы Ганзейского союза.— Уже обозы ушли вперед, по Шелони.

— На Литву,— подтверждают из Раковора.

— На Литву?— удивляется и не верит епископ Риги.

Великий магистр Ордена шлет гонцов в Медвежью Голову и к Раковору.

— На Литву!

Скачут гонцы, плывут морем, пробираются реками — в Ругодив, в Юрьев, Висби.

— На Литву! На Литву! На Литву!

В Новгород, в немецкий двор, прибывает тайно посланец самого великого магистра Отто фон Роденштейна с поручением узнать, что думает посадник Господина Новгорода Михаил с советом больших господ, «вятших мужей» новгородских.

— Поход решен на Литву,— отвечают ему.— Что думает посадник — неизвестно.

Хмурая выходила по Прусской боярской улице, через Загородье и Людин конец, сливаясь за городом в одну

бесконечную ленту, новгородская рать. Тяжело решался этот путь и на военном совете. Полюд и иные виднейшие бояре решительно требовали идти к Полтеску, всадить на престол Товтивилова сына. Сам воевода Елферий уже начинал колебаться.

Покойного Товтивила все знали хорошо: Юрьев брал с новгородцами, но сын, хоть и жил которое лето в Новом Городе, обивал боярские пороги, мечтая новгородскими мечами вернуть себе отцов стол,— сын уже не внушал доверия, и желание помочь ему гасло, не разгораясь, как сырые дрова в печи.

Большинство прочих хотело разделаться в первую голову с немцами, вновь захватившими реку Нарову, как в недобрый год накануне Чудской битвы. Колыванцы и раковорцы заступили выходы к морю и уже держали Новгород за горло, своевольно облагая купцов вирами и сбивая цены на русские товары. Не очистив Нарову, можно было лишиться всего. Похода на Раковор и Колывань требовали весь Неревский конец, Плотники, Славна. Похода требовал тысяцкий Кондрат и многие бояре. Сразу согласился с князем Юрием только Ратибор Клуксович, известный сторонник и наушник Ярослава.

Старик Лазарь, бессменный посол Великого Новгорода при всех важных переговорах с зарубежными землями и с низовскими князьями, на которого напирали с трех сторон, хранил молчание. Не сказал своего слова и посадник Михаил Федорович, всякий раз спокойно отводивший глаза, когда сторонники Раковорского похода кидали ему красноречивые взгляды, требуя поддержки.

Путь на Литву решился не потому, что перетянули сторонники Ярослава, а потому лишь, что он равно не устраивал ни тех, кто тянул на Полтеск, ни тех, кто звал на Раковор. Боярин Жирослав, задержавшись после совета, заступил широким телом дорогу посаднику Михаилу:

— Что ж ты? Али переметнулся к князю?

— А ты али к Полтеску захотел?— возразил Михаил Федорович, отодвигая его рукою. И, проходя, добавил вполголоса: — Не спеши, пущай-ко Полюд с иными сперва передумают!

Пешая рать двигалась частью по берегу Шелони, частью в насадах, по реке. Конница шла иным путем. Ушедшие вперед обозы ждали рать выше по Шелони, у Дубровны, на устье Удухи. Оттуда, соединившись, войско должно было выступить к Порхову и дальше, к литовскому рубежу. Подходившие к Дубровне полки располагались станом.

Человек вдали от семьи, в броне и с боевым двоюострым топором плотнее стоит на земле, увереннее судит

мирские дела, крепче чувствует дружеский локоть соседа. Посадник Михаил учел это гораздо лучше Юрия с Ратибором. Пока подтягивались остатние рати, а скучающие воины передовых дружин слонялись по стану и без конца играли то в зернь, то в шахматы, от шатра к шатру, нарастая, полз глухой ропот. Спорили, уже не скрываясь, и вечером, в шатрах, и у котлов с варевом, и даже на утренних и дневных перекличках.

Князь Юрий, за два дня растерявший всякую уверенность в благополучном продолжении похода, уже заискивал перед воеводами, без конца торопил посадника Михаила, но тот кивал на тысяцкого Кондрата, а Кондрат разводил руками. Юрий кидался в шатры бояр, созывал десятских и сотских, посылал ежечасно в шатер Сбыславичей. Но воевода Елферий с братом Федором от утренней до вечерней зари охотились в окрестностях Дубровны, взапуски носились по осенним пожелтевшим полям, спуская соколов с кожаных перчаток на мечущихся по открытому пространству перепуганных лисиц и зайцев. Полюд, предлагавший ранее поход на Полтеск, молча, с издевкой смотрел в глаза князю, словно спрашивал: «Ну что? Добился своего?» А ночами бурно совещался у себя в шатре со сторонниками посадника Михаила. Большой совет никак нельзя было собрать.

Все громче и громче ратники требовали вечевой сход.

Юрий решился на отчаянный шаг: поднял свою дружину, повел из стана, но и двинувшийся было за ним полк Шелонской волости вдруг повернул назад, а новгородцы даже и не тронулись с места. Юрию пришлось с соромом вернуться вспять. Засев вечером у себя в шатре, он жестоко напился. Будто этого только и ждали посадник Михаил с тысяцким. Тотчас от шатра к шатру заходили бирючи, всю ночь, не засыпая, шумел стан, а наутро протяжные выкрики сотских, звон бубнов и пение рожков оповестили прочнувшегося Юрия, что руководство войском уплыло из его рук. Собиралось вече.

Ратники выстраивались в бронях и в оружии, во главе с сотскими и уличанскими старостами, иные — по ремесленным братствам: кузнецы, плотники, стригольники, гончары. Ратибора Клуксовича, пытавшегося было звать на Литву, прогнали ревом и стуком в щиты, не дали говорить. Один за другим подымались старосты Нова-города на помост, исчисляли обиды от немцев и князя Ярослава, требовали идти к Раковору. Немногие все еще звали к Полтеску. Наконец слово взял сам Михаил Федорович. Шум стих, когда посадник начал говорить:

— Братья! Отцы ваши загородили мечами отчину свою от немец на Чудском озере, под Плесковом, у стен

Копорья. С вами мы брали Юрьев, ни во что же обратив твердость града сего! Но уже и снова заступили немцы пути Великому Нову-городу, Нарову отъяли у нас! От того и товарам умаление, и в торгу дороговь. И та беда простым людям — купцам, ремесленникам, черной чади — и всем вам, мужи новгородские! От того беда и вам, тверичи, и вам, переяславцы, и вам, суздальцы,— обернулся посадник в сторону княжеской рати,— стоим мы на рубеже Руси Великой, отворяя железом пути за море! Не будет нас, и кто не дерзнет на вы? Но сила креста и Святой Софии всегда низлагает неправду имущих!

Братья! Удальцы новогородские! Щит и меч всей земли Русской! Яко страдали деды наши и отцы за Русскую землю, тако, братье, и мы встанем крепко все за едино! С нами бог, и правда, и Святая София!

Речь посадника решила дело. Кондрат говорил еще короче и кончил словами: «Оже бог по нас, кто на ны?» Больше не выступал никто. Сразу же начали метать жребий. Поход к Раковору был решен.

С заранья полки уходили на север, свертывая стан. Дружина князя Юрия выступала последней.

Пока шли по своим землям, войско держалось дорог, обходило нивы, воеводы следили, чтобы не было грабежей и потрав. За Наровой конные отряды ушли в зажитье, и дальше путь ратей отмечался пожарами, отчаянным мычаньем и блеяньем угоняемых стад, плачем испуганных детей и женщин. Ратники вьючили добро на коней, ссорясь из-за добычи, рыскали по перелескам, выискивая чудинов, забирали полон. Основная же сила войска шла быстрыми переходами прямо на Раковор.

Все ж таки, как ни спешил воевода Елферий с посадником Михаилом, взять город с наворопа[1] не удалось. Раковорцы успели приготовиться, закрыть ворота и встретили новгородскую рать, кинувшуюся было на штурм, градом стрел и камней. Новгородцы отошли, унося шестерых убитых на приступе, и среди них Федора Сбыславича, брата воеводы Елферия. Стрела попала ему прямо в глаз.

Елферий, темный, как осенняя ночь, сам объезжал Раковор, выискивая место для нового приступа. Но каменные стены всюду были высоки и толсты, а рвы глубоки и налиты водой. Взять город без осадных машин не было никакой возможности.

На военном совете было решено, разорив окрестные села, возвратиться назад, чтобы прийти под Раковор с

[1] С наворóпа — с набега, с налета *(старин.)*.

большей силой, со стенобитными и камнеметными пороками.

Уже начинались затяжные осенние дожди, раскисали дороги, превращаясь в непроходную грязь, когда новгородское войско, гоня отбитый скот, волоча возы с добром, житом, лопотью и убоиной, ведя полон, возвращалось в Новгород.

Воевода Елферий Сбыславич вез тело брата, чтобы предать земле в дедовском родовом склепе. Для него поход на Раковор был теперь делом кровным: город следовало взять, разгрести и предать огню.

XV

Совет на этот раз заседал без князя Юрия. Супились, но старались прятать взаимные покоры и которы. Все понимали важность дела. Предстояло воевать ни мало ни много с самим Орденом.

— Юрий нам не князь!

Об этом думали все, и только разом посмотрели друг на друга, ища того, кто первый молвил ключевое слово.

— Позвать Дмитрия Олександровича!

Это произнес Полюд, и тут все посмотрели на посадника. Четыре года назад Михаил Федорович от имени всего Нова-города предложил юному сыну невского героя лишиться новгородского стола, *«зане мал бяше»*, как гласил софийский летописец. И Ярослава Ярославича приглашал опять же сын посадника Михаила с избранными боярами. Полюд был и тогда против изгнания Дмитрия. Легче управлять малолетним переяславским князем, чем престарелым и крутым братом покойного Олександра. Осторожный Михаил Федорович ссылался на угрозу с немецкой стороны. Теперь, по видимости, оказывался-таки прав Полюд, и все ждали, что посадник возразит ему. Но Михаил Федорович твердо выдержал насмешливый взгляд Полюда и слегка наклонил голову с красиво уложенными блестящими волосами. То, что было, было четыре года назад. Переяславский князь стал с тех пор и старше и, наверно, опытнее. А в Ярославе ошибся не он один..

В Тверь к Ярославу постановили послать Лазаря Моисеевича, Гаврилу Кыянинова (Ярославов любимец должен был, будучи в посольстве, смягчить возможный гнев великого князя), Михаила Мишинича и Полюда. Послам наказали во что бы то ни стало убедить князя в необходимости похода и получить в помочь Новгороду низовские полки. Во Плесков, к Довмонту, вызвался съездить Елферий. Михаил Федорович взял на себя заботу о порочных

мастерах. С владыкой Далматом урядили о расходах на войну епископьи и города. Предстояло таковжде вызвать ладожан, боярам наказать собирать дружины, объявить большой новгородский полк.

Новгород открыто готовился к рати. День и ночь ковали оружие кузнецы, тележники направляли телеги, кончанские и уличанские старосты, а по земле новгородской старосты волостей и рядков готовили припас и собирали коней. Порочные мастера работали на владычном дворе, учиняли пороки. Около них всегда толпились любопытные ремесленники, разглядывали оттяжки и вороты камнеметов, присев на корточки, трогали колеса и оси осадных машин, проверяли на глаз прямизну стоек, спорили, восхищались, прикидывали вес станин и ударного тарана стеноломов.

Иное происходило в это время во владениях Ордена. Здесь еще не был забыт печальный итог Чудского сражения, и великий магистр, не отказываясь от помощи колыванцам, отнюдь не хотел, чтобы в ратном споре против Ордена выступила вся Русская земля. Однако он был осведомлен о несогласии у русских, о том, что великий князь Ярослав не ладит с господином посадником и лучшими мужами Новгорода, как и о том, что не ладит с ними князь Юрий. На секретном военном совете было решено послать в Новгород посольство якобы с предложением мира, а затем, нежданно выступив всеми силами, разгромить под Колыванью новгородскую рать.

Ночами, в глубокой тайне, выступали рыцарские отряды, стекаясь в строго намеченные места. План был разработан до мелочей и исполнялся безукоризненно. Ошибки на этот раз быть не могло.

В конце октября посольство Ордена и Ганзы прибыло в Новгород и остановилось на немецком дворе. Великий магистр, послы Риги, Вельяда, Юрьева и иных городов заверяли торжественно князя Ярослава, посадника Михаила, тысяцкого — «господина Кондрата», кончанских и уличанских старост и весь Великий Новгород в том, что они хотят блюсти мир по старине, всей правде и старым грамотам, без пакости. А что обида есть у Новгорода с Колыванью и Раковором, то забота Господина Новгорода, а Ордену до того дела нет, в чем, добавляли послы, «целуем крест поистине и без обмана».

Послов принимал Михаил Федорович в посадничьих покоях в Детинце, а после — князь Юрий в княжеском тереме на Городце. Князю Ярославу немедленно был послан скорый гонец с извещением о посольстве и его намерениях.

Послы клялись и просили только права свободного торгового пути для своих купцов на время ратной поры. Требовалось срочно обсудить немецкое предложение. Ежели дать немцам веру, то отпадала угроза со стороны Ордена, тем самым Раковор с Колыванью, можно сказать, отдавались Новгороду на руки. Что это? Чувствуют силу? Не хотят размирья с Новгородом? Послание магистра могло означать, что у Ордена достаточно хлопот с поляками и Литвою, но могло таить и нежданный подвох. Посадник Михаил Федорович не был склонен особенно доверять послам, не то что князь Юрий, тотчас ухватившийся за немецкое предложение.

Собрался совет. Спорили долго, так и эдак. Послы принесли клятву и целовали крест, но это не убедило посадника и наиболее осторожных членов совета. Послам велели подождать до утра.

Отпустив собравшихся, Михаил Федорович сразу же прошел к владыке Далмату. Престарелый архиепископ отложил греческую рукопись, переводом которой занимался на досуге, благословил посадника и молча указал ему на резное кресло рядом с собою. Михаил Федорович кратко рассказал о переговорах, о мнении Юрия и попросил совета. Далмат задумался. Будучи человеком, верующим глубоко и сильно, он, хотя и знал о частых нарушениях крестоцелованья, полагал все же, что десница божья не дремлет и всегда рано или поздно карает отступников: «Ничто же бо покровенно есть, еже не откроется, и тайно, еже не уразумеется». Иное дело, что магистр и рыцари Ордена могли и перед господом легко отречься от клятвы своего посольства...

— Пусть целуют крест все!— сказал он после долгого размышления, подымая на посадника старческие светлые, уже наполовину расставшиеся с этим миром глаза.— Все... там, в Риге.

Посадник, не убежденный в душе, покинул покои архиепископа. В конце концов приходилось принять предложение посольства уже для того, чтобы не пострадал торг. Если бы Юрий был хоть чуточку умнее, а Ярослав дальновиднее!..

Послом был, как и всегда, избран престарелый Лазарь Моисеевич. Из бояр с ним вместе нарядили Семьюна. Новгородские послы должны были ехать в Ригу и там принять присягу и крестное целование от самого магистра, епископов и всех «божьих дворян» — рыцарей Ордена. Как раз ударили холода, на подмерзшую землю выпал первый снег, и посольство Лазаря Моисеевича и Семьюна отправилось в немцы по первопутку.

XVI

Снег пушистыми хлопьями падал на подмороженные болота, голые, побуревшие поля, на башни, стены, купола и кровли Новгорода, покрывая стылую землю белоснежной паволокой. Дети с веселым криком доставали заброшенные с весны резные салазки, кидались снежками, барахтались в снегу. Онфим, отданный с осени дьячку учиться часослову и церковному пению, едва досиживал до конца занятий. Он уже писал слова, учился легко. Олекса, посмеиваясь, перебирал сыновьи рукописания, где порою под подписью *«Онфиме»* красовался не то грифон, не то лев, со стрелой во рту и с надписью: *«Я звере»*.

— Балуешь все!

Государыне матери, прохворавшей все лето и осень, с первым снегом стало лучше. Вновь заходила по дому, наводя порядок.

Брат Тимофей тогда, после покоса, удивил Олексу тем, что совсем не стал срамить его. Он задумчиво и пристально глядел, слушая сбивчивые Олексины признания, оттягивал бороду, жевал губами, приговаривал раздумчиво: «Так... так... так...» А при упоминании об отце сжал кулак и так дернул себя за бороду, что несколько вырванных волосков осталось в руке.

— Вот что, Олекса,— просто сказал он,— тут и я виноват, в чем — неважно. Пока — хитри, а там увидим. Захарьичу надоть намекнуть, конечно, чтобы того... не торопилсе... Что могу, сделаю. А чего не могу...— Он медленно провел рукой, обжимая бороду, помедлил и докончил тихо: — Тоже сделаю!

С тех пор Тимофей побывал у всех знакомых мытников во всех концах города, но пока ничего еще не выяснил и, забегая к Олексе, на все его вопросы упорно отмалчивался. Впрочем, и Ратибору было сейчас не до Олексы.

Микита — Олекса таки взял парня, записав за себя,— кончал устраиваться в амбаре. Собрал толоку, мужики помогли поправить сруб — перемшивали стены. Микита сам прорезал волоковое окошко, перетесал мостовины пола, застлал корьем и завалил мохом и землею потолок. Сам Олекса зашел глянуть на Микитино хоромное строеньице. Только что сложенная печь чадила, плохо разгоралась, дым метался по амбару, не находя дымника, валил в открытые настежь двери. Белоглазая резная личина домового неосторожно выглядывала из запечка. Микита со Станьком в два топора дотесывали углы. Оленица,

счастливая, сияющая, округлилась, расцвела с лета, носилась по своему новому жилищу, переставляя бедную утварь.

— Хорошо у нас?

— Лучше нельзя,— снисходительно похвалил Олекса,— печь только плоховата.

— Сырая еще.

— Ну, зови на новоселье! Венчаться-то когда думаете?

Микита с Оленицей смущенно переглянулись.

— Понял. Ладно, поговорю с отцом Герасимом!

Воротясь, заметил Домаше:

— Оленица-то у нас непраздна ходит.

— Да уж никак на четвертом месяце! Я уж давно замечаю, это ты не видишь никак!

— Верно, с покоса обеременела, торопится девка! Гляди, из похода придем, дитя ему поднесет! Я обещал с Герасимом поговорить.

— Еще, Олекса, хотела сказать, надо им припасу снедного на свадебный стол.

— Это справим! У матери прошай: ржи, солоду там да полоть скотинную. Пусть уж свадьба как свадьба!

Свадьбу Микиты и Оленицы справили без излишнего шума. Гостей было немного, человек с двадцать: дворня Олексина, своюродники с той и с другой стороны, дядя невесты (родителей-то бог прибрал) да отец с матерью жениховы, опасливо поглядывающие на хозяина и с жалкой гордостью — на сына. Девки после «На солнечном всходе на угреви» запели обидную, намекая на излишнюю полноту невесты. Оленица покраснела до слез. Олекса спас, кинув девкам в подол горсть пряников:

— А ну, славьте молодую!

Потом все подносили подарки. Кто утиральник, кто холста кусок, крупы, кто вязаные носки, рукавицы... Ульяния послала молодой на саян, и молодые ходили из-за стола к ней в покой кланяться. Домаша с Олексой посидели за столом, оказали честь. Домаша подарила плат и тонкого полотна белого на рубаху. Олекса расщедрился, поднес серебряные позолоченные сережки просиявшей Оленице и алого кумачу Миките на праздничную рубаху. Любава — рушник и прошвы своего рукоделия. Радько, хитро прищурясь, выложил пару сапог молодому, каких тому носить еще не приходилось: зеленых, с загнутым носом, с прошивкой шелком по голенищу.

— По праздникам будешь одевать, чтобы жена любила, на боярских отрочат не заглядывалась!

Ночью в постели Домаша вздыхала, ворочалась, наконец промолвила:

— Счастливые они!
— Микитка-то с Оленицей? Ну, не дай бог такого счастья!
— Зато любят друг друга...
— А ты меня нет?
— А ты, Олекса?
— Эх, Донька моя, мотри, задавлю!..

С установлением санного пути Олекса поторопился завезти товар, дрова и сено,— надо было успеть до похода.

Война освобождала от тайного. Куда-то в смутное «потом!» отодвигались и Ратибор Клуксович, и Максимка, и все нерешенные «как быть?» и «что делать дальше?».

Вернулось посольство из Риги. Лазарь Моисеевич водил ко кресту магистра, немецких бискупов и божьих дворян. Торжественно поклялись не помогать колыванцам и раковорцам. Договор скрепили грамотой, к пергаменту были подвешены позолоченные печати великого магистра и городов: Риги, Вельяда, Юрьева, Висби и прочих. Лазарь Моисеевич доложил об окончании посольства. Договор обеспечивал немецким гостям свободную торговлю через Котлинг и Ладогу, а зимою через Медвежью Голову и Плесков на все время войны, и купцы спешили воспользоваться счастливой возможностью.

В Новгород начинали съезжаться князья со своими дружинами. Они останавливались на Городце, на княжеском подворье и по боярским домам, а дружины — по дворам горожан и за городом, на монастырских подворьях. Прибыл Дмитрий Олександрович, юный сын покойного великого князя Олександра Ярославича Невского, решением боярского совета, посадника и всего Новгорода поставленный во главе войска; Констянтин, зять покойного Олександра, ходивший с новгородцами под Юрьев. Прибыл Довмонт Плесковский, уже прославленный ратной удачей и необычной судьбою: литовский князь, принятый и окрещенный плесковичами, он водил плесковские рати на Литву и немцев, славой побед, как златокованной сканью, украсив имя свое и своей новой отчины, Плескова. Великий князь Ярослав Ярославич вместо себя послал князей Святослава и его брата Михаила с полками. Прибывали, чуя поживу, иные князья, помельче. Подходили пешие рати новгородских сотен. Ждали морозов, чтобы добре укрепило пути и реки: пройти бы тяжелым возам, порокам и конной рати.

XVII

Помимо припасов для пешего новгородского ополчения Олекса должен был выставить от своего двора трех че-

ловек в бронях и на конях. Обычно отправлялись сами: он, Радько, Станята. Нынче Радько уже не мог ехать на рать — тяжело, не те годы. Впервые шел повозником, дома не захотел оставаться все же. Нездила нужен был в лавках, поэтому третьим взяли Микиту.

— Испытаем еще на рати, а там и к делу приучать!— шутил Олекса.

Парень был смышлен, и, пожалуй, в будущем стоило его приспосабливать к торговому делу.

— Гляди, лет через пять одного в Корелу можно посылать будет,— подсказывал Радько, полюбивший старательного и немногословного парня.

Миките примеряли Радькову бронь, слава богу, пришлась впору.

Последние дни хлопоты не прекращались с раннего утра до позднего вечера. Чистили брони, проверяли оружие.

— Дмитру нынче доход!

— Не говори!

Станята прискакал наконец от кузнеца. Олекса долго, придирчиво проверял работу.

— Кто делал-то? Сам? Нет!.. А, Жидята! Тот-то добрый бронник!

На столах в горнице разложили кольчугу с оторочкою из медных колец — Олексы и простую — Станяты; шелом — отцов, в котором тот еще дрался на Чудском вместе с князем Олександром. Онфим вертелся, прыгал от радости, заглядывал в глаза (все эти дни рисовал на бересте человечков в шеломах на конях, с копьями и тучи стрел над ними), ойкнул, когда Олекса примерил кольчугу и, туго натянув (эх, узковат!) кожаный, подбитый сукном колпак, надел начищенный, жарко засверкавший шелом.

— Батя, батя!— Онфим таращил глазенки, силился вытащить отцов меч из узорчатых ножон.

— Мотри не заразись!

— Не заразюся!— пыхтя, отвечал Онфимка, возясь над мечом.

— Тятя, вынми!— наконец взмолился он, не в силах справиться с защелкой рукояти.

Радько проверял насадку копий, подтачивал наконечники стрел. Янька летала, как птица, по дому, вместе с Домашей собирая припасы, теплую лопотину, снедь, то и дело засовывала любопытный нос в горницу. Увидела Онфима, не вытерпела, подкралась:

— Дай мне!

— Пусти, баба!— важно отвечал Онфимка, отталкивая

Яньку, которой тоже не терпелось потрогать отцов м‹
Янька все-таки отпихнула Онфима, отщелкнула задержку, вытащив оружие, тронула пальцем наточенное лезвие и тотчас обрезалась.

— Батя, батя, Янька заразилася! — торжествующе закричал Онфим.

— Кыш, баловники!

Напуганная Янька, сунув палец в рот, стремглав выскочила из горницы.

Домаша хлопотала вместе с Любавой, не ссорясь, — у обеих ноне мужики уходили на рать.

— Матушка, портище класти? — спрашивала Домаша.

— Погоди, не суетись. Куда рукавицы положила?

Ульяния строго проверяла припас: сколько раз отправляла на рать отца, мужа, потом сына, — знала лучше мужиков, что надо взять, без чего можно обойтиться.

Отослав Домашу, зашла в горницу, присела, скрестив руки, следя, как Олекса снимает и складывает бронь. Поникла слегка трясущейся головой, вдруг молвила негромко:

— Стара я стала. Застанешь ле...

— Что ты, мамо! — не на шутку перепугался Олекса (пришло на ум, как тогда, вернувшись с рати и тоже из-под Раковора, не застал отца).

— Тебе весь дом беречь!

— Домаша уж... не мала, — возразила Ульяния с отдышкой. — Ну, бог тебя благослови! Дай поцелую. — Перекрестила, повесила образок. — Не теряй — дедов. Ну, Христос с тобой, защити тя Христос... — задрожали губы.

— Что ты, что ты, мамо! — У самого стало щекотно в горле, прижал к груди.

Справилась с собой Ульяния, вытерла глаза краем платка:

— Кажись, Тимоша приехал! Пойду встречать.

На крыльце уже раздавались шаги брата.

Смотр: людно, конно и оружно — проходил на поле, за Славной, у Городца. Сотские во главе сотен. Посадник и тысяцкий под стягом, князья во главе своих дружин. Дмитрий на пляшущем коне. Весь в бронях, яко в леду, проходил новгородский городской полк.

Затем старшие придирчиво проверяли выезд и вооружение каждого воина. Олекса заслужил одобрение своего сотского.

Накануне выступления пересчитывали сулицы[1], топоры, запасные рукавицы. В воз укладывали припасы, мо-

[1] С у́ л и ц а — легкое метательное копье.

роженое мясо, пироги, хлеб, бочонок меда. Высыпались перед дорогой, а жонки, провожавшие своих мужиков в путь,— Любава, Домаша и Оленица, уже сильно потолстевшая и подурневшая лицом (месяца два еще — и пора родить), почти и не ложились. Любава, плотно замотав платок, возилась на дворе. Домаша распоряжалась в тереме, то и дело выходя на крыльцо, покрикивая на девок, Седлилку и двух пришлых мужиков (одного из них брали вторым повозником), помогавших грузить возы. Укладывали доспех. Копья приторочивали к седлам коней.

Затемно, еще не светало, двадцать третьего генваря войско выступило в путь. Конная сторожа ушла за три дня вперед. С нею ускакал и Довмонт Плесковский встречать свою рать, которая должна была встретиться с новгородскими полками за Островом. Мужики, изрядно подкрепившиеся перед дорогой, весело переговаривались, горячили коней. Олекса скоро переменился с Радьком, тот сел на конь, Олекса же взялся править возом. Микита плоховато держался на лошади, и Станята с Радьком учили его на ходу.

Рассветало.

— Сила-то!— прищелкивали языками мужики, оглядывая бесконечную змею конных ратников, растянувшуюся по пути,— голова и хвост змеи не были видны из середины. За конным войском шло пешее. Иные, подвязав лыжи, бежали по сторонам дороги. За пешей ратью — обозы. Там второй воз Олексин — с ячменем, овсом коням на дорогу, мешками под захваченное добро и веревками.

В обозе везли тяжелые осадные машины для штурма твердынь Раковора и Колывани.

Несколько дней двигались, сохраняя все тот же порядок. Ночевали то в дымных избах попутных погостов, то в шатрах, в поле, разводя костры. Рать шла быстро, выступали затемно, становились на ночлег в сумерках. За Наровой, уже вступив на вражескую землю, разделились на три пути.

Начались грабежи. Там и тут вспыхивали пожары. Это была уже чужая, немецкая земля, и чудь, населявшая ее, тоже была не своя, а чужая, немецкая. Прилежные земледельцы, пахавшие скупые северные нивы, рыбаки и ремесленники, заселявшие прибрежные города, попав под власть Дании, а затем немецкого Ордена, чудины выносили на своих плечах и чужеземный гнет, и бремя военных расходов рыцарей, безропотно выставляли пешее войско, а при всяком розмирье первые же предавались разору и грабежу. Второй раз за этот год проходило по этой земле новгородское войско, увозя обилье, угоняя скот, обращая

в пепел плоды мирного труда, вырванные в нелегкой борьбе у скудной северной природы.

Посаднику донесли, что впереди, на скате холма, обнаружена непроходная пещера, куда забились, со скарбом и добром, ища спасения, множество чудин. Ратники никак не могли подступиться. Чудь, с мужеством отчаяния, отвечала на каждый приступ тучами стрел, сулиц и градом камней. На третий день посадник вызвал порочных мастеров. Мастера, посовещавшись, решили затопить пещеру. К исходу четвертого дня плотина из частокола и ледяных глыб была готова. Молча смотрели новгородские ратники, как послушная расчетам мастера вода медленно съедает снег, подбираясь к устью пещеры. Скоро оттуда раздались крики, и чудь побежала наружу. Конные ратники бросились рубить бегущих. Укреп был взят. Разрушили плотину, и сделавшая свое дело, черная от зимней стужи вода, дымясь, уходила назад.

Михаил Федорович предложил на совете захваченную добычу отдать целиком князю Дмитрию Олександровичу. Новгород подчеркивал тем самым, что в княжеских несогласиях относительного того, кому руководить ратью: Святославу, Юрию или юному сыну Олександра — он целиком стоит на стороне последнего, и расплачивался за обиду, нанесенную князю пять лет назад, когда Дмитрий, «зане еще мал бяше», был изгнан тем же посадником Михаилом и заменен на своего дядю, Ярослава Ярославича.

Впереди, обреченный гибели, готовой военной добычей лежал Раковор. И уже поговаривали в полках:

— Раковор возьмем, там и Колывань будет наша!

XVIII

Февральские метели текли по полям, слепили глаза. Сырой ветер с моря нанес густой колючий туман. В тумане подошли к завьюженной речке Кеголе. Кондрат приказал подвезти пороки. До Раковора, невидного отсюда, оставались уж немногие версты. Было восемнадцатое февраля, утро субботы сыропустной. Дома топили бани, вспоминая родных и близких, ушедших в поход.

Внезапно, с переменою ветра, туман прокинулся, и новгородские ратники увидели на том берегу, в полях, от края и до края, насколько хватал глаз, построенный в боевых порядках немецкий полк. Словно лес, колыхались бесконечные ряды копий и стягов. Было ясно, что тут собралась вся земля немецкая, все силы Ордена и прибрежных городов.

Михаил Федорович, поднявшись на стременах и удерживая переминающегося коня, нахмурясь, оглядывал изпод руки вражеское войско, пытаясь сосчитать по стягам количество немецких полков. На широкогрудом саврасом жеребце подскакал Кондрат. Седая борода тысяцкого тряслась:

— Христопродавцы! Клятвопреступники!

Подскакал князь Дмитрий, тоже горевший возмущением:

— Немедленно наступать!

С разных сторон подъехали Елферий, князь Констянтин и Юрий, злорадствующий в душе: его отодвинули от руководства походом, пригласили, не спросясь, Дмитрия, передали тому всю чудскую добычу — и вот отплата!

— Твоя сторожа не углядела?— спросил вдруг Елферий, круто оборачиваясь всем своим большим телом к Юрию и наезжая на него конем.— Твоя, что ль?!

Жеребец Юрия, всхрапывая, попятился назад. Князь, бледнея от обиды и унижения, рванул за повод. Елферий, смерив его с головы до ног тяжелым, обрекающим взглядом, резко отворотил своего коня, поднял на дыбы и в один прыжок очутился рядом с посадником. Ссориться перед боем не имело смысла. Юрий обернулся, ища сочувствия и поддержки, но князь Констянтин, старательно не замечая грубости новгородского воеводы, вглядывался в немецкий строй. Тут Юрий неожиданно вспомнил, что давеча сам отпустил сторожу в зажитье — пограбить окрестные села, и лицо у него пошло бурыми пятнами. Ненавидящим взглядом, молча, он уставился в спину Елферия.

Ждали князя Святослава с братом Михаилом и Довмонта Плесковского. Молчали воеводы. Новгородские войска торопливо подходили к реке, без зова ровняли ряды. Сами собой смыкались конные рати, выстраивались пешцы. Сотские и старосты, тут ставшие воеводами, окликали отставших, торопились занять свои места. Бывалые ратники боярских дружин, ходившие и на Литву, и в Заволочье, и за Урал, на Югру, качали головами, присвистывали, перешептывались:

— Ну, здесь легкой победы не жди! Это не с чудью воевать!

Довмонт прискакал на военный совет последним, мрачно сведя брови: как он мог даться на обман, он, знавший лучше их всех, что верить немецким клятвам можно не больше, чем кротости зимнего волка! Он тоже подал голос за немедленное наступление. Отступать теперь — значило быть разбитыми наверняка.

— Како ся урядим, братие? — вопросил посадник, обращаясь к мужам совета.

Молодой князь Дмитрий Олександрович, залившись румянцем — впервые руководил такой ратью, — обвел очами воевод:

— Сперва да скажуть старейшие меня!

Воеводы говорили ясно и коротко. Споров особых не было, тем паче, что Кондрат и другие рвались в бой.

И только Довмонт, молчавший до поры, как молодший на этом совете, почувствовал нечто недоброе в том, что в середину становили новгородский полк, а тверичей и переяславцев по краям. «Олександр не тако ся становил, в чело слабейшии!» — подумал плесковский воевода. Осторожно он попробовал предложить иное построение, но сразу же обнаружилась застарелая рознь тверичей с новгородцами. Святослав, выступавший от лица самого великого князя Ярослава, недовольно покосившись на Довмонта, возразил:

— А кого поставити в чело, переяславцев?

Довмонт смолчал. Даже понимая, что это, возможно, обещает победу, он не мог дать истребить под Раковором своих плесковичей.

Тронув коня, Довмонт подъехал к Елферию. Тот коротко глянул на него и молвил негромко:

— Выстоим! Юрий пойдет напереди...

У него был свой и недобрый расчет.

Поглядев на новгородского посадника, плесковский воевода увидал на его лице отражение собственных сомнений. Всегда спокойное чело Михаила Федоровича на этот раз было необычайно хмуро. «Ежели бы знать...» — прошептал он одними губами. Но посадник понимал, что добиться иного решения сейчас, накануне битвы, уже невозможно и, чтобы не вызывать раздора воевод, безопаснее принять всегдашнее построение и... положиться на волю божию. Он лишь поглядел пристально в глаза Довмонту, когда заключал:

— Встанем по старине! Новгородская рать в чело.

Немедленно понеслись гонцы в разные концы войска, и скоро полки в боевых порядках начали переходить реку.

После короткой остановки, во время которой Олекса, как и все, спешил разглядеть немцев, был дан приказ переходить Кеголу. Пронзительно засвистели дудки, и новгородская рать тронулась вперед. На какое-то время за краем снежного берега и густыми рядами своего войска Олекса потерял врагов из виду. Но вот поднялись на ровное место, и разом придвинулись немецкие полки. Про-

стым глазом уже были видны ряды железных людей на железных конях, нацеленный тупым острием вперед сверкающий клин рыцарского войска — «свиньи». Подрагивали ощетиненные копья. Чуть колыхались корзна[1] с крестами. Морды лошадей в латах, похожие на железные конские черепа, и люди без лиц, с наглухо закрытыми шлемами, пугающие своей нечеловеческой тупой неуклюжестью.

— Похоже, нас в чело ставят противу «великой свиньи»!

— А тверские где ни та?

— По правой да по левой руке.

— Справа кто ле?

— Плесковичи!

Новгородский полк действительно становился в лицо железному полку. Князья Дмитрий и Святослав с дружинами ушли на крайнее правое крыло, выше плесковичей, князь Михаил стал по левую руку. Только Ярославову наместнику Юрью в довершение его бед пришлось встречать немецкое войско лоб в лоб, вкупе с новгородцами, которых он в этот миг больше чем ненавидел. И посадник Михаил, и Кондрат, и Елферий, и Полюд, собравшиеся под стягом,— все были его личные враги, которым он всем сердцем желал быть разбитыми, не понимая только, почему за этот разгром он еще должен платить своей собственной головой.

Ратники ровняли ряды, оживленно перекликивались с плесковичами.

— Ну что, Микита, трусишь маленько? Спервоначалу-ту?— Олекса посматривал на широкое, чуть побледневшее лицо парня, неотрывно вперившего взор в немецкие ряды. Сам он был в обычном своем перед боем повышенно-возбужденном и веселом состоянии, которое передавалось и коню, приплясывающему под Олексой. Станята держался ровнее. Он и в бою никогда не лез вперед, не кидался, как порою Олекса, на рожон, но и не прятался, а держался «до кучи», со всеми. Сейчас, полагая, что он тоже должен разделять общее приподнятое настроение, Станята весело крикнул товарищу:

— Не робей, Микитка!

Тот не выдержал наконец, разлепил губы:

— Цего они без голов?

Кругом дружно расхохотались.

— Парень-то, парень!

— Первый раз!

---

[1] Ко́рзно — плащ (обычно княжеский).

— Али не видал шелома немецкого?

Микита проглотил слюну, густо покраснел и вдруг сам расхохотался, понял свою ошибку.

— Чего вискаете, што кони! — накинулся старый ратник на весельчаков.— Али сами на борони родились? Вишь, парень,— начал он поучать Микиту,— ты его сбоку старайсе, он поворачиватьце-то неуклюж. А уж коли с коня собьешь, конец ему! Иной и сам не встанет, только угадай сулицей в дыхало...

Воины то и дело поглядывали туда, где невиданный за лесом копий и знамен, знали, стоял посадник, с ним тысяцкий Кондрат и именитые бояре, на рослых конях, в посверкивающем золотом оружии, в харалужных бронях и шеломах, отделанных серебром. Когда — заступники, когда враги, в вечевых спорах и мятежах народных прячущиеся от разъяренной толпы горожан, а сейчас — щит и надежда новгородская: Полюд, Пороман Подвойский, Твердислав Чермный, Ильдятиничи, Осип, Жирослав, Ратша, Твердята...

Придвинулись еще и тут увидели главную причину неподвижности орденского войска. Почти лишенная снега плоская вершина холма, обдутая ветром и утоптанная лошадьми, представляла лучшее место для атаки тяжелой рыцарской конницы.

Ошибка, за которую дорого заплатили новгородцы, была допущена с самого начала: из-за княжеских разногласий в воеводстве никто не воспользовался опытом прошлых лет, и сильнейший новгородский полк был поставлен под удар «великой свиньи».

Олександр на Чудском озере поступил иначе. Позволив немцам прорубиться «свиньей» сквозь ряды самого слабого войска, он лучшими силами ударил с боков и с тыла, смешав неповоротливую конницу в кучу, после чего оставалось только истреблять да гнать бегущих по озеру до слабого льда...

Выставляя же сильнейший полк прямо в лицо «великой свинье», новгородцы предоставляли немцам возможность использовать все преимущества их закованного в железо рыцарского тарана. Так узость князя Ярослава, рознь и недальновидность воевод отдавали победу в руки немецкой рати.

Об этом, не таясь, говорили в пеших полках:

— Сами голову на плаху кладем!

— Учудили воеводы, а нам опеть кровью расплачиватьце!

— Цего-нибудь думают и они...

— Думают, как нас, дураков, на торгу обдирать!

— Не скажи, Олександр-покойник, тот понимал дело...

— Дак он один и понимал. Разве на Чудском тако полк становили?!

— Ну, ты тамо не был!

— Дак батька был! Чать не один раз и сказывал...

Пронзительным голосом дудок по рядам русского войска передали приказ князя Дмитрия о наступлении.

— Почнем!— произнес посадник, кладя руку на меч и кивнув бирючам, разом ударившим в литавры. Но в тот же миг, как зашевелилось русское войско, будто угадав, и немцы стремительно двинулись вперед.

Издалека было видно, как ряды рыцарей, застывших от ожидания, задвигались, как разом опустились, нацеливаясь вперед, длинные рыцарские копья, выставились украшенные гербами щиты, загудела промерзшая земля под согласным глухим топотом тысяч кованых конских копыт, и, все убыстряя и убыстряя бег, вырастая в глазах, приближается железная немецкая «свинья».

Хриплые, жесткие окрики немецкой команды, ветер, поднявший мелкую ледяную пыль из-под конских копыт... Вихрь... И вот в протяжном, нарастающем крике вся эта громада опрокинулась на русских, и дальше уже ничего не было видно. Страшный треск от сшибившейся с окольчуженным строем новгородцев «свиньи», стон копий, ржание, крики раненых, неслышные уже в слитном реве немецкой конницы, и бесполезные слова приказов, и гибель, и кровь, и смерть...

Олекса на какой-то миг оглох. И вдруг в наступившей тишине увидел все: оскаленные конские морды, лица, искаженные яростью, и беззвучно валящиеся тела, и, как волной взмытые, распадающиеся строи конной рати — новый вихрь... Это, как узнал он потом, уже возвратившись в сознание, был князь Юрий, «вдавший плечи»,— позорно удиравший с поля боя впереди своей смятенной, потерявшей строй и ополоумевшей от страха дружины. И затем литая, металлическая, глухо ревущая стена немецкой конницы надвинулась, подбросила его, коваными копытами с хрустом пройдясь по павшим, врезалась в Олексину сотню и разметала по сторонам. Где Станята? Где Микитка, последний раз мелькнувший с отчаянно разинутым ртом, бросивший щит и обеими руками вздевший топор над головою, стараясь ударить с потерявшего поводья и закрутившегося под ним коня? Копье рыцаря прошло мимо тела, разбив в куски щит. Уронив оружие и вылетев из седла, Олекса пал плашмя на спину лошади, вцепился в гриву — добрый конь спас Олексу, отчаянным

прыжком перелетев через поверженного ратника, и понес в водовороте бегущих. Еще он пытался всесть в седло, поймать утерянное стремя, еще заворачивал коня, скрипя зубами, ругаясь, рвал с пояса меч, старался — и не мог — пробиться туда, в середину, где посадник, знамя, цвет и узорочье войска, старый Кондрат, который сейчас — из разорванного рта струей хлещет кровь на седую бороду и панцирь — гвоздит, уже не видя ничего, и своих и чужих, пытаясь повернуть рать, и дорого продают жизнь падающие один за другим вятшие мужи новгородские, в харалужных, украшенных серебром и золотом бронях, в красных, подбитых соболями корзнах, слишком гордые, чтобы отступить хотя на шаг, и потому обреченные смерти...

Будет пухом павшим земля! И в глубоких снегах и весенней порою в листве молодых берез. Будет ветер над вами шуметь, пронося стада облаков, и высокие светлые травы на крови вашей взойдут. Будут реять века над погостами отчей России ваши тени в древней броне... Помяни, владыка Далмат, их в вечерней молитве! Жены-вдовы новгородские пусть омоют слезами павших бойцов. Призри, господи, с выси горней да упокой их души в лоне своем — не посрамивших земли своея!

Новая волна немецкой конницы, пробившись наконец через поверженный новгородский строй, швырнула и закрутила Олексу. И понял Олекса, что то — смерть, и закричал от жалости, от ярости, от страха,— вот и отпировал и отгулял купец, а много ли и было ее, гульбы-то всей! Прощайте, Домаша, мать, Онфим, надежда отцовская... Да пусть же он не тем поминает батька, что бежал на рати и был в спину убит! И смертно ударил Олекса коня, и послушался конь, и рванулся Олекса встречу потока бегущих, встречу железной ревущей смерти и не ведал уже, как и меч отъяло из руки, и конь был убит под ним, и не видел, что впереди и что назади, за спиной, где тоже нарастал другой, звонкий и страшный рев...

Олекса упал, в голове затмило на минуту, и шум, как через воду, доносился к нему. Сейчас коваными копытами пройдут по груди, по лицу... Не хочу! И из последних сил, отчаяния, злобы вцепился Олекса руками и зубами в ногу коня, тот тряхнул копытом, но не стряхнул пятипудовую тяжесть, споткнулся и, увлекаемый своим движением и весом окованного в железо седока, повалился вперед, подмяв Олексу под себя. Рыцарь натянул повод, но страшный удар в затылок ошеломил его. Разжав пальцы и весь размякнув, он склонился и упал. Конь дрыгал, опрокинувшись, ногами и дико ржанул, но удар между ушей — и, вздрогнув, вытянулся конь. А мимо, дыша с

хрипом, отплевывая кровь и пену, ругаясь, спотыкаясь, падая, шли и шли вперед, крестя топорами, залитые кровью мужики...

Елферий Сбыславич скакал по полю, пьяно раскачиваясь в седле, сжимая онемевшими пальцами шестопер. Добрый конь чудом вынес его из самой гущи сечи, руда[1] заливала глаза. Разбиты... Юрий бежал... Где посадник? Может, еще не конец?.. Повернул ли князь Дмитрий? А плесковичи, Довмонт?.. Но уже подкатывало что-то похожее на серую муть: «Все равно!»

Конь нес, не сворачивая, и не было сил натянуть повод, ни желания, и что смерть — не думалось. Гомон сражения удалялся, растекаясь вширь. И вдруг Елферий увидел прямо перед собою неровную толпу бегущих не взад, а встречу людей, людей, ощетиненных копьями, рогатинами и топорами, орущих грозно и дружно, перекрывая шум битвы за спиной.

— Неужто наши?!

С чувством, ему самому непонятным, даже не радости, нет, чего-то большего — хотелось пасть в ноги им за все беды, за поборы, за равнодушие, за вражду, за хитрые увертки на вече и предательства в совете вятших, всем этим плотникам, кузнецам, медникам, корабельникам, стригольникам, этой пешей или сейчас сошедшей с коней, непривычных для ремесленного люда, городской рати, которая вступала в дело теперь, и, не желая понимать, что проиграна рать и разбит полк новгородский, остервенелым валом катилась не назад, а вперед.

Мужики, завидя Елферия, побежали, хрипло, страшно орали что-то... И когда понял воевода, что кричат ему, стало не «все равно», и не думал еще, что победа, не понял еще ничего, но дикая радость объяла, и повернул коня, и поднял онемевшей рукой шестопер, следя подлетающего врага: рейтар собрался уж руками ять русского боярина, да вдруг узрел кровавый, ужасный, с мокрой от крови, клочьями торчащей бородой лик Елферия... И Елферий узрел победный лик врага, и на это наглое, торжествующее, а тут враз побледневшее лицо, мало не промахнувшись, со всех сил — потемнело в глазах, как качнулся,— опустил Елферий свой узорчатый кованый шестопер. Немец снопом повалился с седла. А кругом уже бежали, кричали мужики, и в их водовороте, вздымая лошадей, закружась, падали потерявшие строй рыцари.

[1] Ру́да — кровь *(старин.)*.

Конница легко справляется с пехотой, только когда приходится рубить бегущих или прорывать негустой, рассыпанный цепью строй. Но когда пехота не хочет отступать и ратники становятся плотной густой колонной, один к одному, выставив вперед, как щетину, острия копий, ни один конь не поскачет на них и ни одна конница в мире не сможет прорвать их строй. Это доказал еще в еллинские времена поход десяти тысяч греков, проложивших дорогу сквозь полумиллионную персидскую конницу; это доказала фаланга Александра Македонского, «двурогого» героя многочисленных «Александрий», и опыт легионов Великого Рима, это доказывали новгородцы не раз и не два, и на Колакше, и на Липице, когда, спешившись, сбросив шубы и сапоги, новгородские ремесленники наголову разгромили княжеские войска Гюргия и Ярослава. Для того нужно только, чтобы каждый пеший ратник в строю чувствовал себя заодно со всеми и искал не спасения, а победы. Именно это и произошло, когда, разгромив ослабленный бегством Юрия конный полк, немецкая «свинья» обрушилась на пешее новгородское ополчение...

Воинского строя уже не существовало, все перемешалось в кучу. Огромный детина возился на земле, круша кусты и взрывая снег, с окованным в латы рыцарем, упавшим с коня, оба потеряли оружие. Детина, как медведь, мял железного человека, стараясь вывернуть руки, и в бессильной ярости грыз зубами птичий клюв глухого рыцарского шлема. Он было перемог, навалясь сверху, но тут чья-то мгновенная полоса стали взмахом воронова крыла обрушилась на его незащищенную спину, и враз ослабли медвежьи объятия смерда, и алая руда змеисто хлынула из перерубленного пополам тела, а рыцарь, стряхнув с себя человечьи полтеи, весь в чужой крови, встал, качнулся, но тотчас же на его железную голову точно лег кузнечный молот, и смялось, сплющилось железо, войдя внутрь круглой коробки, а из рыла-клюва хлынуло фонтаном, словно багряное фряжское вино из бочонка, и, мгновение постояв, вдруг, как пустой доспех, нелепо, по-скоморошьи согнувшихся врозь ногах, грудой железа рухнул рыцарь под ноги мужикам, а над ним встало костистое, в сивой, черно-серебряной бороде, высушенное жаром горна лицо кузнеца, даже не взглянувшего на поверженного врага, подымая молот для очередного удара.

— Ровней, ровней, други! — деловито прикрикнул Дмитр (то был он), краем глаза усмотрев сунувшегося было от нетерпения вперед молодого подручного. Дмитро-

вы кузнецы шли «стенкой», и были они в железе, своем, самокованом, и так же, как у своей огненной работы, строго слушались старшого, и, как там раскаленное железо, так здесь ожелезенный рыцарский строй «свиньи» сминался под их неторопливым натиском...

Голоса боя менялись. Слитный глухой зык немецкой конницы распадался на отдельные судорожные выкрики, а беспорядочный рев новгородской пешей рати нарастал, сливался в одно грозное звучание, подобное шуму водопада.

Уже юный князь Дмитрий — в отца пошел сын,— сверкая золотым шеломом, пробивался вперед сквозь вражеские ряды, пьяный восторгом победы, и за ним пробивалась, тупя мечи,— стыд воину отстать от князя — его переяславская дружина.

Уже Довмонт Плесковский, удержав коня, отер пот и кровь с чела, окидывая поле наметанным взглядом: примеривал, куда бросить хранимую до сих пор запасную конницу. Один среди всех сумел приберечь свежую конную дружину и уже собирался, ежели не устоят новгородцы, сам, очертя голову, повести ее в тыл немецкой «свинье»: вырывать победу из рук врага.

Не выдали плесковичи, костьми легли передовые ряды, а не вдали плечи; хоть и гнулись, но устояли!

И уже и справа и слева начинали теснить попятившихся пеших чудских ратников низовские дружины князей Святослава и Михаила...

Великий магистр стоял на холме, руководя боем.

— С нами бог!— удовлетворенно повторял он, следя, как врезается победоносно в новгородское войско клин рыцарской «свиньи». Весы победы уже клонились на сторону Ордена.

Еще... еще! И... вот сейчас, не задерживаясь, сомнут пеших, и трупами бегущих усеется белое поле... А тогда с тыла ударит на них Улингер фон Штольверт, и разгром превратится в побоище... Но что это? Пробившись сквозь конный новгородский полк, «свинья» вошла в пешую рать, как в трясину, и вместо победоносного стремления вперед началось непонятное колебание — так в давке на рыночной площади колышется взад и вперед нестройная толпа стесненной со всех сторон черни. Так же закачался рыцарский конный клин и, закачавшись, начал пятиться, разбиваться на ручейки и островки, съедаемые, словно половодьем, русской пехотой.

С удивлением, ужасом и гневом увидел он, что все распадается, что мудро задуманная и блестяще начатая операция где-то споткнулась и уже все пошло вкось и

вкривь, не так, не по-задуманному, а иначе. Его всегда возмущал этот нелепый каприз судьбы, эта путающая все расчеты внезапная сила русских, пробуждающаяся тогда, когда они уже, казалось, бывали разбиты до конца.

Князя Олександра он еще мог постичь. Уже за тридцать верст до Новгорода доходили передовые конные отряды рыцарей, когда этот славянский вождь повернул победу к себе лицом. Но великий человек может появиться везде. И у славян были великие вожди, хотя и много реже, чем у них, немцев, и не создали они самой совершенной в мире немецкой организации рыцарства... Князь был герой, он и издали одушевлял полки. Когда пал Юрьев, Олександр незримо был с русской ратью... Но сейчас?

Презирая этих смердов, этот сброд, плохо вооруженный, легко поддающийся панике, эту снедь войны, этих вонючих, неотесанных мужиков, он не мог допустить истины, не мог понять и принять мысли, что именно они, эти русские мужики, вырвали у него из рук сегодняшнюю победу.

Если не произойдет чуда и Улингер фон Штольверт не сумеет ударом с тыла поворотить сражение... Но в глубине души магистр чувствовал, что чуда уже не произойдет, что Улингер запоздал и теперь, даже появившись, он ничего не сумел бы изменить...

Волна бегущих уже начинала докатываться до холма. Приходилось, бросив на произвол судьбы чудскую пехоту, спасать рыцарскую конницу от полного разгрома. Опустив забрало, магистр поворотил коня.

Сейчас, больше чем когда-либо, склонен был он поверить во всемогущество божие, отвратившее от них победу ради ложно данной клятвы. Но ведь клятва дана еретикам, язычникам! (Признать христианами русских он тоже не мог.) Как же так?

XIX

Короткий день померк. Уже солнце, выбившееся наконец на мгновение из-за туч, косо позолотило лес и кусты, пробежало по истоптанному до черной земли, окрашенному кровью полю с кучами изрубленных тел и, загрустив, смеркло, утонуло в синей закатной дымке, а с востока, охватывая небо, надвигалась лиловая темнота.

В сумерках конница продолжала преследовать бегущих и уже окончательно потерявших строй вражеских ратников в три пути: и в чело, и справа, и слева. Бой оканчивался избиением. Кони то и дело спотыкались о трупы, густо усеявшие снег. Остатки немецкого войска укрылись за стенами Раковора.

Пешие новгородские ратники останавливались, окликали товарищей. Кто-то, подъехав, спрашивал: не видали ли посадника? Нашелся раненый, который видел его в полдни среди боя. Несколько человек с факелами отправились тотчас искать. То там, то здесь зажигали костры, скликали и пересчитывали своих:

— Перх!.. Наум!.. Огафонко!

— Здеся я.

— Григ!.. Кулба!.. Офромеец!.. Филимон!

— Убит.

— Васка!

— Убит.

— Шестьник!.. Обакунец!

— Живой, видали его!

— Шестьник, ты где, Шестьник?!

— Ту-у-та!

— Окиш!

— Я.

— Исак!

— Здесь!

— Сесой!

— Убили Сесоя.

— Токарь!

— И его убили.

— Понарья!

— Здеся.

— Милошка!

— Я!

— Юрко!

— И Юрко с нами!

— Хоть эти-то живы... Илья!.. Тудор!.. Местята!.. Местята-а-а!

— Не кричи, убили Местяту нашего...

В полутьме звякало оружие, стонали раненые, тяжко ржали раненые кони... Внезапно пронеслась весть, что назади, в товарах, немцы.

— Где?! Где?! Куда?! — спрашивали друг друга, устремляясь назад, пешие ратники. В темноте кричали, из-за реки, из своих собственных товаров, бежали люди, вопили:

— Спасите!

Вторая немецкая «свинья» стояла в товарах, начинался грабеж. Поднялось смятение. Грязные, перевязанные кровавым тряпьем люди кинулись нестройно к реке, ругаясь, на ходу подбирая оружие. Метались факелы, их пляшущий свет и отблески костров увеличивали сумятицу мечущихся теней.

— Куда-а-а! Куда-а-а! Сто-о-ой! — бился отчаянный крик.

Распихивая бегущих, прискакал на гнедом тяжелом коне Семьюн, за ним — пьяный от усталости Елферий. Врезались в толпу:

— Сто-о-ой!

Кто-то ударил кулаком по морде Семьюнова коня.

— Ты немцев ко кресту водил?.. Твою мать!

Конь захрапел, попятясь.

— Куда-а-а! Сто-о-ой! Сто-о-ой! — срывая голос, кричал Елферий. Его наконец узнали. Толпа росла. Перебредшие реку нехотя возвращались назад.

— Разобьют! Толпой! Куда! Ночь! Смятемся, побьемся сами! Утра, света жди, на заре ударим!

Елферий вертел коня во все стороны, хрипло — уже сорвал голос — повторял одно и то же. Толпа примолкла.

Надсадно дыша, подскакал старик Лазарь, стал рядом. Вдали шумели подбегавшие, хрустел и скрипел снег, тяжко дышали. Пламя костров плясало на бородатых, красных от огня лицах, на оружии.

— А ночью немцы товары разобьют! — спокойно и громко сказал кто-то в толпе.

И казалось, все пропало от этих слов. Вновь дружно заревели от ярости стихшие было мужики. Неслышные в этом реве Семьюн, Елферий и Лазарь вертели коней, Лазарь врезался в толпу, размахивал руками, тряс бородой, бил себя в грудь, сорвал шелом, кинул под ноги коня — седые волосы разметались по плечам, — поднял обе руки вверх:

— Меня убейте! Сыновец у меня там! Вас деля!

Успокоил.

Ночь опустилась на поле. Горели костры. Кто подстелив еловые лапы, кто шубу, кто прямо на снегу, лежали и сидели мужики. Между спящих и дремлющих людей ходила сторожа. То и дело глухо топотали в темноте конные, объезжая стан. У простого костра сидели сегодняшние воеводы новгородского полка: задремывающий Лазарь — надломились силы, дрожал от холода, всхрапывал, клонясь к огню, старые глаза слезились, отражая пламя; Семьюн, Гаврило Пронич, двое оставшихся в живых — Федор и Борис Кожичи... Елферий спал, лежа на земле, постелив на снег попону. Многие не сняли броней, дремали сидя, в оружии, ждали утра, боялись за ночь.

К костру, поплутав меж огней, то и дело подъезжали конные, подходили пешие. Подскакивали гонцы от князей Святослава с Михаилом, от Дмитрия. Довмонт сам подъехал, тяжело — тоже сказалась усталость — соскочил

с коня. Протягивая руки к огню, глядя в пламя, он немногословно урядился с проснувшимся Елферием о выступлении. Ускакал. Принесли стонущего, в тяжких ранах Твердяту. Твердята бредил, мотая головой, кончался. Положили у костра. Вполголоса спрашивали о посаднике, с полудня его никто не видел. Не было Никифора Радятинича, Ивача, Жирослава, Полюда, Ратислава Болдыжевича, тысяцкого Кондрата... Каждая новая весть прибавляла бремя потерь.

Сменившийся опять ветер нес с моря ростепель и туман. Елферий встал, стряхнув одеревенелость сна. Соратники, прикорнувшие у костра, не шевелились. Лазарь спал — уходился старик! Елферий прикрыл его своей епанчой и пошел по стану проверять сторожу. Люди спали у потухающих костров. Некоторые метались во сне. Хрипло закричал мужик, заставив Елферия вздрогнуть,— видно, привиделось во сне что. Стонали раненые. Женщина, подобрав подол, несла бадью с водой. Мельком взглянула на Елферия. Морщинистое, усталое лицо, волосы выбились из-под платка. Поправляя, улыбнулась, кивнула Елферию, как будто ободряла, может, по привычке ободрять раненых. С мужем, должно, приехала, в повозниках. Как и выбралась из товаров! Невольно ускорил шаг, сжал кулаки, вспомнив свое вчерашнее «все равно». Подходя к реке, услышал в тумане оклик. Подошел. Сторожа переминались с ноги на ногу — в утреннем холоде пробирала дрожь.

— Не пора ль, воевода? Светает?

Светало. Елферий поглядел на сереющее небо, на внимательно ожидающих ответа мужиков.

— Как за рекой?

— Тихо в товарах.

— Спят ли, отступили ли...— добавил второй голос.

— Буди!— решил Елферий.

Заиграли рожки. Заспанные люди подымались, разминая затекшие члены. В тумане началось повсюду смутное шевеление. Окликали друг друга, торопливо жевали хлеб, строились. Когда Елферий вернулся к своему костру, уже никто не спал. Ржали лошади. Запоздавшие подвязывали брони. Лазарь, повеселевший, в шишаке — чужом, свой так и потерял вчера,— хитро поглядел на Елферия.

— Почнем, что ли?— Протянул кусок хлеба.— Мясо съели. Доле бы ходил, воин, так и вовсе натощак в товары пошел!— поддразнил он Елферия.

— Тебя князь Дмитрий прошал.

— Где он?

— Ускакал к своим.

Стремянный — нашелся!— подвел коня, радостно глядя на господина. Рад был, дурак, что жив и сам и господин: думал, придется искать среди мертвых. Гаврило Пронич, Сотко и Семьюн уже ускакали ровнять ряды. Елферий доел хлеб и поскакал вслед за Семьюном в чело войска.

Перекликаясь в тумане, перешли Кеголу и, все убыстряя и убыстряя шаг, двинулись к товарам. Стремительно, грудью вперед, промчались конные ратники. Черный, курчавобородый красавец Федор Кожич подмигнул Елферию и, оскалив зубы, вырвал кривую татарскую саблю. Вслед за ним, так же молча опуская копья и вырывая прямые клинки русских мечей из ножон, на ходу смыкаясь в плотный конный таран, пролетели верховые его дружины. В тумане глох топот коней. Прошли еще несколько сажен. В расходящейся мгле показалась верховая сторожа. Они махали руками:

— Ушли!

— Никого нет!— подскакивая к Елферию, сообщил запыхавшийся верховой. Сразу обмякло напружинившееся тело. Жалость, что не удалось отомстить, и облегчение одновременно нахлынули на него. Он повернулся к пешим ратникам и крикнул возможно веселее:— Убежала «свинья»! Не дождалась свету, вдали плечи немцы! Победа!

Разрозненный, нестройный гул голосов ответил ему. Верно, у всех было это смешанное чувство жалости и облегчения.

Вступили в разгромленные товары. Все было разбито, разграблено, изувечено. Там и сям лежали тела посеченных людей: вот старик, жонка, мальчик... Елферий отвернулся. Конь, храпя и кося глазом, осторожно обходил мертвых. Где-то раздался стон, туда заспешили сразу несколько человек. Из кустов выбирались разбежавшиеся повозники.

Конные дружины Дмитрия, Довмонта, Святослава ушли догонять врага. Федора с его ратниками тоже нигде не было видно, кинулся вослед немцам. «Теперь не догонишь, далеко утекли»,— подумал Елферий.

Лазарь ехал среди телег сгорбившись, глядя меж ушей коня; жевал губами, дергалась седая борода. Вчера с полудня отправил раненого, чудом вырванного из сечи племянника в товары. Думал оберечь мальчишку и теперь не находил даже тела. «Неужто увели с собой?» — горько думал старик. Вспомнил, как вчера останавливал толпу разъяренных мужиков. «Прав ли я был, господи? — подумал, взвесил, сумрачно покачал головой.— Да, прав. Не мог же погубить войско зазря...»

XX

Станята — он уцелел, отброшенный натиском немецкой конницы,— благоразумно, как и всегда, постарался попасть в середину бегущих, а затем, тоже со всеми, сойдя с коня и подобрав чье-то копье, шел в пешей рати, тыча острием в морды храпящих, тяжело вздымающихся на дыбы лошадей. Счастливо уйдя от удара меча, вспорол брюхо коня и, поотстав, с остервенелым удовольствием (дорвался!) гвоздил обломком копья упавшего рыцаря, тот мотал головой, и Станята все никак не попадал в крестовидную прорезь рогатого, похожего на ведро, шлема. Кто-то пихнул Станяту в спину, и он пошел дальше, шагая через тела, а немца, наверно, добили те, что шли сзади. Когда пешая рать стала, стал и он и, оглядевшись, побрел назад, разыскивая кого-нибудь из знакомых соратников. Бежал со всеми, но не впереди, а немного позадь передних, к реке, а когда расположились ждать утра, тотчас устроился у ближайшего чужого костра.

Вступив с ратью в товары, Станята первым делом бросился туда, где были преж оба Олексины воза. Встречу ему, покачиваясь, шел высокий плечистый мужик, весь залепленный снегом.

— Станята!

— Радько!

Обнялись. У Радька было черно-сизое, обмороженное лицо, губы с трудом шевелились: ночь провел, хоронясь в снегу.

— Олекса где?

— Не ведаю. Убит, должно.

— Убит... А Микита?

— И Микита тоже.

— Тоже... Искать надо... Погоди. Выпить бы чего горячего!

Захлопотал Станята. Рядом уже разводили костер. Кинулся, громко объясняя дело. Ратники потеснились, глядя на спасшегося повозника. Кто-то налил чашу горячего медового взвару. Радько пил, обжигаясь и не чувствуя, только ощущал, как по всему телу разливается спасительное тепло и начинают свербить замороженные ноги.

— Да ты разуйся, дядя!

Станята уже стаскивал с него сапоги, растирал снегом:

— Персты, кажись, будут целы, шкура только сойдет!

— Салом, салом намажь!

— А где?

— Вота! (Дали сала.)

— Спаси Христос, мужики, благодарствуем!

— Не за что!

Радько, когда показались немцы, успел-таки, оставшись один (второй повозник, взятый со стороны, удрал сразу, да так и не нашелся потом: то ли домой подался, то ли сунулся сдуру под меч или увели немцы), вывернул в сугроб оба воза и закидал снегом, а лошадей, обрубив коновязи, прогнал в ельник. Темнота и неуверенность немцев, ожидавших ежеминутно нападения новгородских дружинников, помогли ему, как и многим, спастись и пересидеть в кустах.

Вдвоем со Станятой они вновь нагрузили возы. Затем, выбранив Станяту за потерю коня, Радько облазал рощицу, выгнал лошадей — возы попросил покараулить соседа, обещав заплатить,— и верхами отправились на поле.

— Убит, так тело найти нать! Я за Олексу Ульянии в ответе. Хоть тело привезти в Новый город!

Микиту нашли к вечеру, страшно изувеченного, затоптанного лошадьми. Радько, закусив губы, прежде снял с него порванную, рыжую от крови кольчугу, подобрал смятый шелом, а потом, разогнувшись, обнажил голову.

— Жаль парня. Оленица-то ума решится! Ладно, подымай!

Микиту снесли к общей могиле, куда опускали простых ратников,— всех в Новгород не увезешь!

Олексы не было нигде.

— Быть того не может, чтобы в полон увели, не таков мужик!— говорил Радько, но без уверенности в голосе.

Лошадь Станяты, к счастью, нашлась. Поймали в кустах еще рыцарского коня, слегка зашибившего ногу.

— Ничего, если без поклажи вести — выдюжит,— заключил Радько, осмотрев ушибленную ногу коня,— конь добрый.

Хозяйственный Радько снял доспех с мертвого рыцаря, мороженое тело приходилось рубить по частям. Набрали брошенного оружия.

— Нам все сгодится, не кидать стать! На раковорскую добычу рассчитывать нечего!

Теперь лошади были все, счетом даже одна лишняя, не хватало только хозяина.

Олекса нашелся к вечеру второго дня. Спасло его то, что упал он недалеко от того места, где убили Михаила Федоровича. Разрывая тела, ища посадника, ратники стащили дохлую лошадь и под ней обнаружили вдавленного в снег и недвижимого, судя по шелому и кольчуге, русского.

— Ай боярин?

— Не, из купцов, видно!

— Ну-ко, глянь!

Перевернули Олексу вверх лицом. Он глухо застонал, не открывая глаз.

— Живой?

— Куда? Это так, от шевеленья дух исходит!

— Мотри, мотри, живой!

— Чудеса! Понести нать!

Отдуваясь, мужики подтащили Олексу к костру, сняли шелом, кольчугу.

— Кончается купечь!

— Чур, кольчуга моя, я первый нашел!

— Погоди делить, может, и отойдет еще.

— Пить!— запросил Олекса.

Первый мужик поднес ему корчажку, вылил в рот несколько глотков. Олексу тотчас вырвало на бороду и руки ратника.

— Эк тя!— недовольно поморщился тот, обтирая руки о снег.

— Куда его? Живой!

— Не! Помрет, видно. Видишь, нутро уже не примает!

— У него тамо все чисто отбито, где уж будет жить!

— Купец, а тоже душа христианская! Дай-ко, я его попою!

Ночь и следующий день Олекса был без памяти. Жизнь то угасала, то вновь теплилась в нем. Пришел в сознание — все плыло: небо, тучи, лица стоящих мужиков.

— Кто будешь, как звать-то?

Он назвал свою сотню.

— Олекса, купца Творимира сын... Славенского конца.

Его вновь потянуло на рвоту, и сознание замглилось. В следующий раз, придя в себя, он увидел склоненное над ним лицо Радька.

— Жив?

— Станята где?

— Тута я, живой! А Микиту убили.

— Микиту убили... убили...— с каким-то безразличным удовлетворением повторил он.— Микиту убили...— и закрыл глаза.

Радько нашел его, услышав, как выкликают имя Олексы и название сотни. Приняв раненого, строго спросил:

— А бронь с него сняли где?

Мужики замялись было.

— Давай сюда! Не видишь, кто? За нами не пропадет!

— Угостили бы...

— Это можно.

Радько распечатал уцелевший бочонок меда и щедро напоил мужиков. Тому, который нашел, сунул сапоги, снятые с мертвого чудина.

— В расчете?

— Не дешево за купчя?

Усмехнулся Радько, достал пару белок, доложил.

— Теперь подходяще!

Меч был у Олексы хорош — должно, потерял! Ну, мечей насобирали они со Станятой целых пять штук...

Три дня стояли на костях, подбирая раненых, зарывая трупы. Три дня воронье с карканьем слеталось на падаль. Три дня искали павших и не всех нашли. Пропали, как не были, Ратислав Болдыжевич и Данило Мозотинич, из бояр (а что простой чади, то один бог ведает!), так и не нашли тысяцкого Кондрата — верно, немцы с собой увели, в полон, а может, и погиб где, да ведь не перечтешь всех мертвых по кустам и оврагам! Собирали разбежавшихся лошадей, чинили телеги. Вереницей увозили раненых в Новгород. О штурме Раковора и Колывани нечего было и думать.

На четвертый день тронулось в обратный путь и все войско, усталое, страшно поределое, так и не взявшее Раковор.

XXI

Всю дорогу не знал Радько, довезет или нет? Бегал, доставал молоко, горячим поил. Олексу все рвало, исхудал, голова моталась, как на привязи. Становясь на ночлег, Радько каждый раз ожидал, откидывая рогозину, что обнаружит под нею застылое тело... Нет, стонал, шевелился.

Так доехали до Шелони. Уже под Новгородом ободрился Радько. Хоть и дома умрет Олекса, а все же сможет он поглядеть в глаза Ульянии честно: что мог, сделал, довез живого, а в прочем — волен бог, не мы. Под Ракомой Олекса пришел в себя и уже не впадал в забытье, только слабость одолела смертная — ни встать, ни сесть.

Скорбные вести уже достигли Новгорода. Плачем и причитаниями встречали жонки и матери печальный обоз. Дома кинулось Олексе в очи испуганное Домашино лицо, отшатнулась от смрадного запаха: «Умирает?!» Пересилила себя, захлопотала, а у самой дрожали губы, слезы капали мелко-мелко, руки совались бестолково... Мать,

та глянула только в лицо отчаянными расширенными глазами, поймала взгляд Олексы.

— Живой!— Перекрестилась.— Ну, от самого страшного спас бог!— Недовольно глянула на Домашу, прикрикнула повелительно:— Выноси!

Любава тут как тут: только что при всех припала к стремени Станяты — боялась, не увидит,— тотчас кинулась помогать. Подняли Олексу, понесли в горницы.

— Девки, воды грейте!— приказала мать.

И бился на дворе протяжный, отчаянный вопль. Это Оленица, страшная, распухшая,— напоследях ходила,— узнав про свою беду, без памяти повалилась в снег.

Подняли бабу Радько со Станятой, внесли в амбар, положили на кровать.

— Жонок надо. Не скинула б невзначай!

Пока там возились с Олексой, обмывали, обирали вшей, переодевали в чистое, тут отпаивали Оленицу, терли уксусом виски, тянули за уши, приводили в чувство. Полюжиха, освободясь в горницах, сошла к ней. Потом и сама мать Ульяния зашла в амбар.

— Ты, Оленица, не убивайся, тебе родить надоть! Еговый сын-от у тебя, не чей! Сына береги!

— Сына...— очнулась Оленица, молчала до того и все в потолок глядела безотрывно.— Сына...— пресеклась, уродуя губы, заплакала, наконец, навзрыд.

— Ну, слава богу! Слезами-то и отойдет!— прошептала Ульяния.— Ты, Полюжая, останься при ней, ночуй тута, нельзя одну оставлять-то еще! Да девку с собой возьми, коли что... Я пойду ужо, как там Олекса мой...

Ночью Полюжиха просыпалась от еле слышного шепота, спрашивала негромко:

— Ты, Оленица, спишь ле? Ты спи, сон-то лучше...

Оленица не отвечала, не двигалась в темноте. Когда Полюжиха засыпала, начинала опять шептать, причитывала по убитому, как причитывают из века в век все бабы на Руси:

— Сокол ты мой ясный, надейная ты моя головушка, ладо мое ненаглядное, кормилец ты мой ласковый! Только и погуляли с тобой одно светлое красное летико! На чужой на сторонушке положил ты свою головушку... Холодно тебе там во сырой земле, во далекоей во Чудской стороне... Не омыла тебя горючой слезой, не покрыла покрывалом камчатныим, не закрыла очи твои ясные я своими руками белыма! Не поют над тобой попы-отцы духовные, не кадят воском-ладаном, только воют волки серые да грают черны вороны... Ветры буйные, ненастные заметают к тебе пути-дороженьки... Не придешь ты попро-

ведатьце из-под камушка горносталюшком, из-под кустышка серым заюшком... По весне, родимый, сизой ласточкой, поглядеть на свое дитя милое, на меня, горюшицу горе-горькую! Без тебя наживессе в голоде-холоде, по чужим людям ходючи, куска хлеба просючи. Ни во сне ты мне не покажиссе, наяву-то ты не привидиссе... Ты роздайсе, мать сыра земля, размахнись, гробова доска, отокройся, покрывалышко! Ты возьми меня, горе-горькую...

Утром Оленица ответила встревоженной старухе, увидавшей, что она лежит, как легла, не шевелясь и не смыкая глаз.

— Не боись, Полюжиха! Ничто я не сделаю над собой. Маленького жалко... Шевелитце он тамо...— и прибавила совсем тихо, одними губами:— Выйдет на свет — батьки не увидит!

В белый траур одет Новгород Великий. Служат отходные в Софии, у Святого Николы, у Ильи, Бориса и Глеба, у Козьмы и Дамиана в Неревском конце, в Аркажах, в Антониевом монастыре, у Святого Юрия; служат пышно и просто, служат попы и архимандриты. Одинаково убиваются жонки вятшие и меньшие — горе равняет всех. Служит архиепископ Далмат над посадником Михаилом, с почетом хоронят посадника у Святой Софии — навек закрыл очи. Недвижны соболиные брови на потемневшем лице. Буди, господи боже, милостивый человеколюбче в оном веце стати ему со всеми угодившими ти от века, иже кровь свою пролияша за Святую Софию, живот свой отдавши честно!

На совете вятших, подтвержденном уличанскими и кончанскими старостами, решено было дать посадничество маститому Павше Онаньиничу, боярину Плотницкого конца. А тысяцкого не дали никому: «ци будет Кондрат жив», как гласило решение веча.

Князь Юрий сидел у себя на Городце тихо, как мышь, остерегаясь даже появляться в городе. О нем брезговали говорить. Переветник, немецкий прихвостень, князь, бежавший с поля боя, где легли лучшие мужи Новгорода, внушал омерзение всем, от знатного боярина до простого плотника.

Смутно было в эти дни на душе у Елферия. К Ярославу уже отправлено посольство, должно ждать самого в Новгород. В совете боярском все врозь: несогласия, споры. Кто ожидал Ярослава и тихо радовался. Новый посадник не мог или не умел одолеть супротивников и собрать воедино вятших.

У себя дома Елферий ненароком оглядывал внимательнее прочную и богатую утварь, дорогое литье, царе-

градские кубки и оружие. Трогая восточные драгоценные клинки, представлял, как, ежели что, придется покинуть ему родовой терем и даже — тут начинал дышать тяжко и сильное тело бунтовало, сжимаясь комами мускулов,— как громят по наущению князя родовой терем новгородские мужики... Отворачиваясь от вопрошающих взоров детей, он хмурился и часами молчал, приводя в невольный трепет мягкую и безгласную, обожавшую грозного мужа супругу.

Побывал Елферий и у архиепископа. Долго говорили вдвоем. По просьбе Далмата сказывал про поход летописцу. Перечисляя, заново переживал все: крестоцелование, поход, удачу с чудской пещерой и роковую битву.

— Убиты...

Пока писец заносил имена убитых вятших людей, Елферий ждал, потупясь.

— А иных без числа!— подсказал остановившемуся писцу и замолк. Тяжело задумался Елферий, увидел кровавое поле и то, как скакал, уходя от удара немецкой «свиньи».

— Как о Юрьи?— спросил летописец.

— Переветник он!— зло бросил боярин.

Замялся писец. Юрий — ставленник Ярослава, он и сейчас сидит на Городце. Опасливо поглядывая в очи воеводы, написал осторожно: «*А Юрий князь вда плечи, или перевет был в нем, то бог весть*».

Вздохнул Елферий:

— По грехам нашим... Тут припиши сам!

Кивая головой, выслушивал, не возражая, нравоучительные слова:

— «Но то, братье, за грехи наша бог казнить ны, и отъят от нас мужи добрые, да быхом ся покаяли, якоже глаголет писание: дивно оружие молитва и пост...»

«Пост!» — горько усмехнулся в душе Елферий, но не сказал ничего.

— «Пакы помянем Исаия пророка, глаголюща...— монотонно читал писец,— брат брата хотяще снести завистию и друг друга, крест целующе и пакы преступающе...»

«Вот-вот, брат брата! И сейчас спорим!» — думал Елферий, кивая писцу.

— Ну, все так. А теперь (встали в глазах ревущие мужики на поле), теперь... как все ж таки... одолели!

Мало не задумался писец:

— «Главами покивающе... Господь посла милость свою вскоре... отврати... милуя... призре... силою креста честного и помощью Святыя Софья, молитвами святыя

владычицы нашея Богородицы... пособи бог князю Дмитрию и новгородцем...»

— Ну... хоть так, ин добро...

Может, и чувствовал, что тут не так написано, кто-то не назван еще, но так писали всегда и до него, у летописца сама рука вела, складывая привычные строки... Пусть так!

Выслушал еще раз летописца боярин, поднялся:

— Владыке покажи, да одобрит...

XXII

О смерти кузнеца Дмитра, убитого к исходу дня, когда новгородская рать прочно держала победу в своих руках, и привезенного хоронить в Новгород, Олекса узнал на второй день по возвращении. Не слушая уговоров Домаши и матери, он встал, велел одеть себя, шатаясь от слабости, ведомый под руки, спустился с крыльца, молча ехал до церкви...

На трясущихся, подгибающихся ногах прошел сквозь расступившуюся толпу кузнецов, пришедших проводить своего старосту, стоял у гроба рядом с бившейся в рыданиях Митихой, потерянно глядя в еще более строгое, костистое, словно лик иконный, лицо кузнеца, и только смаргивал, когда набегающая не то от слабости, не то от горя слеза застилала взор и туманила чеканный лик покойного.

И ругались, и обманывали один другого, и гневались, бывало, дрались на разных концах Великого моста, когда город распадался на враждующие станы и два веча — от Софии и с Ярославова двора — вели своих сторонников друг на друга... А вот погиб, и горько, сиротливо без него Олексе!

Добрался домой он уже в полусознании и тотчас свалился в многодневном беспамятстве: начался жар. Не помнил, не узнавал ни жены склоненного лица, ни матери, отпаивавшей его травами, ни корелку-знахарку, привезенную старым Радьком, а когда встал наконец на ноги, увидел серебряные пряди у себя в бороде и в поредевших, потерявших блеск волосах.

Здоровье возвращалось туго, но дела не ждали. Слегла мать. Радько тоже сильно прихварывал. Приходилось поворачиваться за всех. Торг шел плохо из-за розмирья с немцами. На зимний путь почти не было ганзейских товаров. Чтобы дело не стояло, Олекса послал Нездилу в Великий Устюг, Станяту на Ладогу к корелам. Сам он построжел, стал больше походить на брата, с которым те-

перь состоял в деле. Как в воду глядел Тимофей, когда советовал копить серебро!

Оленица родила в срок мальчика. Олекса с Домашей стояли в восприемниках. Передавая крестника матери, Олекса невесело усмехнулся:

— Расти! Теперь не оставлю. Вырастет, к делу приучим. Там и приказчиком сделаю, если доживу только...

Жила Оленица уже не одна, к ней в амбар перебрались Ховра и Мотя. Девки наперебой возились с маленьким Микиткой — сына назвали по отцу,— пеленали его, качали, носили по избе.

Оленица как-то вся притихла, мягко, сосредоточенно улыбалась ребенку, берегла от остуды и сглаза. Один сын у матери, и других больше не будет! Даже не сердилась, когда говорили: найдешь нового мужика. Лучше ее Микиты не будет, а хуже — самой не надо. Проживу. Работаю за троих, не гонят. А сын подрастет — и вовсе полегчает!

Изменилась и Домаша, жестче покрикивала на девок, строже — на детей, увереннее вступала в торговые дела. Чуял Олекса, что не страшно теперь на нее и хозяйство оставить, ежели что. За эту зиму как-то вдруг повзрослела Домаша, стало видно, что уже не прежняя девочка, резче обозначился второй подбородок, а меж бровей, когда гневалась, залегала прямая суровая складка.

Как-то утром, сидя перед зеркалом — Олекса еще лежал в постели,— обмолвилась:

— Пора выделить Станятку, обещал ему!

Олекса смотрел сбоку, как жена вдевает серьги: его подарок! Вспомнил, усмехнулся и, с новым удивлением разглядывая ее отяжелевшее лицо (на мать стала походить, на Завидиху!) и твердо сведенные губы, ответил осторожно:

— Нужен он мне. И дела сейчас неважные пошли. Как выделишь?

— Долго ждет мужик. И перевенчай!

— От Любавы избавиться хочешь? Я думал, вы помирились давно!

— Мне с дворовой девкой мириться нечего!

И хотел рассмеяться, как прежде, Олекса, свести на шутку, да глянул — и почувствовал вдруг, что стала она хозяйкой, госпожой в доме и уже не отступит от своего. Вздохнул, припомнил ночи с Любавой, весенние, жаркие, далекие... Вздохнув, вымолвил:

— Будь по-твоему.

Весной, в неделю всех святых, немецкая рать подступила под Плесков. Повторилось в обратном порядке то,

что было и при Олександре. Но в Плескове теперь сидел не изменник Твердило Иванкович, а энергичный Довмонт, и немецкая рать, потеряв много убитыми и ранеными, без толку десять дней простояла под городом.

Новгородцы, как только получили известие, тотчас отрядили помочь. Во главе рати решено было поставить князя Юрия — по молчаливому уговору: со дня на день ждали Ярослава, и в этот раз никому не хотелось кидать лишнего полена в огонь. Да и сам Юрий потишел. Получив руководство, он торопился исполнить все как можно лучше, заглаживая свой раковорский позор. Конная рать шла без остановок, пешцы двигались в насадах по Шелони и появились в Плескове совершенно неожиданно. Немцы, не ждавшие скорой и столь решительной помощи, в панике отступили за Великую; в тот же день они прислали послов на лодках через реку с предложением мира «на всей воле новгородской».

После пасхи Олекса посетил Станяту на новоселье. Снял шапку, оглядел горницу, в которой явно еще не хватало утвари, отметил, усмехнувшись, как бегает Любава, независимо подымая нос.

— Ну как, купец? Идут дела?

Станята замялся. На розничной торговле от немцев, чем он думал прежде заняться, нынче, с розмирьем, было не прожить. Он перебивался то тем, то другим, проедал отложенное на черный день и уже подумывал, втайне от Любавы, вновь наняться к кому ни то.

Усевшись, Олекса кивнул Любаве.

— Ты выйди!.. О делах твоих, Станька, сам знаю. Немецкого торгу не скоро ждать, может, на ту пасху или когда... До того ноги протянете с Любавой... А ты мне не чужой, сколько раз у смерти были вместе! Вот что: беру тебя в долю, как Нездила... Паевое считай, что внес,— после рассчитаешься, а теперь, пока суд да дело, пошлю тебя в Тверь, мне верный человек нужен, а Радько недужит. Сдюжишь? Тамо того... нужно ухо да глаз!

Потупился Станята, не знал, как и радость скрыть.

— Сдюжу,— и, покраснев, прибавил:— Любаву возьму!

Усмехнулся Олекса простодушному признанию.

— Востра...

Не знал Станята, поклониться ли по-старому, выручил его Олекса. Встал, обнял.

— Бывай! Теперь будешь, Любава, купчихой!— сказал он в сторону двери.

— Может...— и снова засмущался Станята: внове было угощать хозяина.

— Что ж, я не прочь!

Выпили.

— А помнишь, Станька, как мы кабана свалили? Я еще за того кабана должон тебе!

Расхохотались оба.

Просидев допоздна, Олекса стал прощаться.

Любава небрежно бросила:

— Я провожу!

Усмехнулся про себя Олекса, видя, как беспрекословно послушался ее Станята. Вывела. В темном дворе остановились. Олекса медленно покачал головой. Любава рассмеялась тихим, грудным смехом:

— Ну, как хочешь!

Взяла его за руки, сжала.

— Спасибо тебе! И Домаше спасибо. Она и зла на меня, а мне лучше сделала. Ну, прощай!

Быстро обняла, поцеловала крепко, не успел и опомниться. Убежала. Только простучали твердые кожаные выступки по ступенькам.

— Прощайте, Олекса Творимирич, бывайте к нам! — донеслось с крыльца.

XXIII

Ярослав Ярославич прибыл в Новгород после троицы. Строго отчитав Юрия у себя на Городце, он посетил владыку Далмата и принял благословение; после стоял службу в Софийском соборе прямой, недоступный, в кожухе грецкого оловира[1], шитом золотым кружевом, в сверкающем золотом оплечье, усыпанном дорогими самоцветами. Был князь высок и схож с братом, но весь как бы посуше: уже голова, мельче черты лица, голубые глаза навыкате смотрят не грозно, как у Олександра, а свирепо, придавая лицу выражение хищной птицы.

После короткого свидания с новым посадником Ярослав объявил, что говорить с одними членами боярского совета не будет, и потребовал собрать к нему на Городец выборных от всего Великого Новгорода.

Сотские, уличанские и кончанские старосты, старосты Иваньского братства, братства заморских купцов и других купеческих сообществ, старосты ремесленных цехов, представители сотен и рядков, все, кто так или иначе вершил новгородскую политику, ведал его ремеслом и торговлей, съезжались на Городец.

Князь, заставив подождать себя, выступил перед собравшимися. Речь его заранее была хорошо продумана.

---

[1] Оловúр — византийская дорогая шелковая ткань.

Напомнив о павших на Кеголе, под Раковором, он указал, повернувшись к купцам, на замерший торг и всем старостам Новгорода — на плачевное отсутствие мира:

— Мужи мои, и братья моя и ваша побита, а вы разратилися с немцы!

В заключение Ярослав прямо указал виновных в постигшей Новгород беде: великих бояр Жирослава Давыдовича, Михаила Мишинича и воеводу Елферья Сбыславича, требуя изгнать их и лишить волости.

Однако князь не учел многого. Начало его речи не произвело того впечатления, на которое он рассчитывал.

Собравшиеся в большинстве сами были на рати и хорошо помнили, что основной удар принял новгородский полк, а Юрий, ставленник Ярослава, бежал с поля боя. И напоминание о павших лишь всколыхнуло старые обиды. Когда же он назвал Жирослава, Михаила и Елферья, поднялся ропот. Названные были в бою, делили со всеми опасность и ратный труд.

— Не выдадим Елферья!— прокатилось по лавкам, где сидели ремесленники и купцы.

Вскипевший по обыкновению Ярослав (после привычного тверского раболепства новгородские вольности и привычка на всякий удар кулака отвечать тем же выводили его из себя: если бы он только мог — двинул на них полки, но не так-то просто стереть с земли Великий Новгород!), увидя, что собрание старост новгородских и купечество, к которым он и обращался, надеясь, что они помогут ему расправиться с неугодными боярами, встало на сторону последних, в ярости прервал собрание, вышел прочь и приказал седлать коней.

Тотчас к нему отправилась купеческая старшина — умерять раздражение князя и просить его вернуться назад. С немцами не было настоящего мира, и приходилось кланяться Ярославу. Ярослав сперва вообще не принял послов, и к нему ходили вторично.

— Княже, тем гнева отдай, а от нас не езди!— почтительно, но твердо просили послы.

Князь был необходим Новгороду и знал это. Ничего не ответив послам, он тронулся в путь.

Выборные отправились за помочью к архиепископу. Крытый возок Далмата — с ним отправили Лазаря Моисеевича, иваньского старосту вощинников и лучших бояр — догнал Ярослава на Мсте, у Бронниц. Битых три часа уговаривали вятшие люди Новгорода своего князя. Ярослав помягчел, но не поддавался на уговоры. Наконец владыка Далмат попросил переговорить с князем с глазу на глаз. О чем велась беседа, никто так и не узнал, но в

конце концов князь вышел, сумрачный, к посольству и сказал, что он изволит воротиться.

Тысяцкое, уже без споров, пришлось дать Ратибору Клуксовичу, рабская преданность которого Ярославу и неразборчивость в средствах вызывали насмешки даже его ближайших приятелей. Пришлось и еще многим поступиться, но ни Жирослава, ни Мишу, ни Елферья князь все же не посмел тронуть.

Так был заключен этот мир, вернее перемирие, грозившее рухнуть каждую минуту и удерживавшееся лишь общей необходимостью справиться с немцами, перекрывшими пути не одному Новгороду, но и всей Русской земле.

Олекса, узнав о назначении Ратибора тысяцким, побелел и почувствовал, как внутри у него словно опустилось. Но Тимофей, принесший злую весть, выглядел даже довольным и потирал руки.

— Цегой ты?— изумился Олекса.

— Добро! Так даже лучше,— отвечал Тимофей.— Теперича поглядим, чья возьмет! Я вызнал про него такое, что боярин и свету не залюбит... Тебе говорить не стал, да и рано было, а теперя, как он тысяцким, самая пора! Так что не горюй, Олекса! Ну, я к ему схожу. Потешу боярина в останний раз. Да и свое дело исправлю, куны с его получить надоть! Я даве у Хотена заемную грамоту Ратиборову выкупил. Хотен третье лето за им ходит, а как Ратибор тысяцким стал, и вовсе надежу потерял... Долг двенадцать гривен, а он мне из половины отдал!

Тимофей круто собрался, подпоясался все с тою же угрюмой радостью и ушел со двора.

— Коня возьми!

— Без надобности...

Ратибор выдерживал Тимофея на сенях часа полтора, но Тимофей и не торопился. Время от времени он только потирал руки, виновато улыбаясь наглой боярской челяди, и только раза два попросил напомнить о себе. Наконец его позвали.

Ратибор куда-то собирался. В роскошном, переливчатого шелка зипуне, он рассматривал себя в серебряное зеркало и лишь повел глазом, даже не кивнув в ответ на низкий поклон Тимофея. Двое слуг суетились рядом, подавая то коробочку с иноземными притираниями, то хрустальный флакон с ароматной водой, то резной гребень. Один из слуг держал наготове, перекинув через руку, золотой узорчатый пояс, другой обмахивал боярина опахалом из павлиньих перьев.

— Говори, смерд, какое дело ко мне, да не задерживай!— бросил Ратибор, расчесывая гребешком умащенные благовониями усы.

Тимофей сдержал усмешку и начал с нарочитой простецой:

— Дело мое малое: купца Олексы, сына Творимирова, я, значит, буду брат старшой. Так вот поговорить о брате пришел.

— Олексы?— играя перед зеркалом красивыми нагловатыми глазами, словно бы припоминая, протянул Ратибор.— Это ктой-то? А, со Славны, заморский купец! Это не его-ста на рати конем задавило? Чего ж сам не пришел? Я тебя вроде бы не звал.

— Меня зовут, когда в долг берут, а когда платить надоть, я сам прихожу.

Ратибор нетерпеливо поморщился.

— Как тебя? Тимофей! Недосуг мне баять, опосле приди да скажи Олексе своему, пущай-ко приползет, нужен.

— Он теперича вовсе не придет, боярин!

Холодные глаза Ратибора на миг застыли в удивлении. Он наконец взглянул на сутулого, худого, в темном, сероваленого сукна зипуне, узкобородого горожанина, что стоял перед ним вроде бы и униженно, но отнюдь без того жадного блеска в глазах, который появляется у бедняка при виде богатства. «Где-то я его видел?» — с легким беспокойством подумал Ратибор Клуксович, отдавая зеркало и принимая пояс, угодливо поданный слугой.

— Чего ж не придет, ай обезножел с Раковорской рати?— деланно усмехнулся новоиспеченный тысяцкий.

— Али у тебя, боярин, от холопей тайностев нету?— ответил Тимофей вопросом на вопрос и впервые посмотрел прямо в глаза боярину тем взглядом, которым смотрит желтоглазая рысь на коршуна.

— Ты говори, да не заговаривайся, купец!— повысил голос Ратибор.— Я у тя взаймы не брал!

— Ан брал. Мне с тебя по Хотеновой грамоте получить причитаетце!

Тут наконец Ратибор вспомнил о старом долге и понял, почему ему было так неприятно с этим человеком: заимодавец! Ну, подождет.

— А и брал, дак за тысяцким не пропадет!— спесиво передернул Ратибор плечами.

— Оно конечно, ежели сам тысяцкий не пропадет той порою,— ответил Тимофей, по-прежнему пристально глядя в глаза боярину.— Дак я уж лучше теперя получу.

Смутный холодок пробежал по спине Ратибора и тотчас сменился бешенством. Прежде он бы попросту взъярился, накричал, может быть, приказал вытолкать сермяжного хама взашей, но должность тысяцкого застав-

ляла сдерживать себя. Взмахом руки Ратибор выпроводил слуг и высокомерно бросил гостю:

— Ну, чего знаешь, сказывай!

— Ты серебро на Микифоре Манускиничи поимал...— начал Тимофей.

— То по князеву слову! — не дослушав, оборвал боярин.

— По князеву, да. А себе ничего не взял? Князю ты, боярин, милостыню подал только! А сколь и чего себе взял и скрыл куда, я знаю один!

И, видя, как, бешено выкатив наглые глаза, Ратибор схватился за кинжал, Тимофей, усмехнувшись, спокойно добавил:

— Убьешь? Узнают! И другие дела твои ведомы мне, Ратибор! И на грамоту исписаны все! Ты у меня в руках, боярин. А нож оставь, на рати и мы бывали... Садись! — вдруг приказал Тимофей, стиснув бороду левой рукой, а правую убирая в рукав, и шагнул на тысяцкого.

Рысь прыгнула на птицу. С хищным клекотом в горле Ратибор отпрянул и почти свалился на лавку. Тимофей, пригнувшись, остался стоять перед ним.

— В чести ты, боярин, знатен и богат! Гляди-ко, аравитскими благовониями умащаешь ся! А коли все тайности твои враз открыть — не знаю, пожалеет ли тебя Ярослав. Гляди-ко, еще перед нашими огнищанами неубыточно княжой справедливостью покрасуетце! Твоей головой купить Новгород — дешевая плата!

— Ты... Олексе... брат,— запинаясь, но яростно выговорил Ратибор.— Дак, стало, переветника Творимира сын?

— Сын, да старшой! С батьком моим и тебе, боярин, пропасти можно. О том не будем. Олекса того не знает, что мне ведомо. Знаю, кому и вы, Клуксовичи, о ту пору служили. Серебро, что брал у Хотена, седни отдашь. Там чего еще будет, а мне куны терять нестаточно. И Олексу, брата, не замай боле.

Тимофей переждал, глядя по-прежнему в лицо Ратибора, искаженное сейчас смесью подлости, самомнения и страха.

— Дак как, боярин?

Ратибор сглотнул слюну.

— Первое, я все же тысяцкий от князя. Ярославу Новгород моей головой покупать не стать, он им и без того владеет, а без меня ему тута не обойтитьца! То второе.

Видя, что Тимофей молчит, и от того смелея больше, Ратибор продолжал:

— А переветничал ли Олекса, нет — на то у меня по-

слухи есть. Представлю, и не докажешь, что твой Олекса тому не виноват. Любой судия тогда ему не поверит! А я — я князю слуга верный!

— Судьи бы, может, Олексе и не поверили,— возразил Тимофей,— а мир поверит! Слуга княжой, Юрий, немцам вдал плечи, со страху ли, аль уговор имел с ворогом, бог весть! И ты не с ним ли бежал? А переветник Олекса на рати под Раковором честно кровь пролил за Святую Софию и за весь Великий Новгород! Мне уличан недолго собрать, купецких старост, да я и на вече скажу, не сробею, боярин. Славна Олексу не отдаст!.. Кажный из нас грешен, и ты грешен, и я, праведников мало среди нас. Господь бог тако сотворил, пущай он о том и печалует. И Олекса не лучше других... И поодинке ты кажного из нас сильнее, боярин! А только все вместе мы — народ! Ты баешь, князь тебя простит? Пущай! А народ простит ле?! Попомни Мирошкиничей, Ратибор! Тоже весь город подмяли было под себя. А чем кончили? Хоромишек и тех не осталось.

— А до того... до того!— вдруг захлебнулся яростью Ратибор Клуксович.— Сотру!.. Тамо пущай!.. Пущай разоряют!..

Но Тимофей уже опять опустил глаза и стал худым, старым, бедно одетым городским менялой.

— Дак прикажи выдать куны. С лихвой тамо тринадцать гривен с тебя, боярин, мне причитаетце!

Ратибор передохнул и вдруг честно признался:

— Нету теперь у меня столько.

— Десять и три после.

— Шесть!

— Восемь, и не торгуйся, боярин. Сам дашь али ключника позовешь?— И Тимофей добавил совсем тихо:— А что грозишь — промолчу пока. Но и ты знай, что мы, к часу, укусить заможем... И про Олексу помни...

— Нужны вы мне оба!— в последний раз взорвался, уже сдаваясь, Ратибор.

— Нужны ли, нет, а уговор!

Так заключено было и это перемирие, подобное только что состоявшемуся между князем Ярославом и Новгородом, в отличие от первого, правда, мало кому известное, но зато точно так же готовое нарушиться в любую минуту.

XXIV

По санному пути первые отряды тверских и суздальских войск начали прибывать в Новгород. С Ярославом

прибыл великий баскак[1] владимирский, Амраган. Узкими глазами бесстрастно смотрел он на этот русский город, плативший дань, но так и не завоеванный Ордой, прикидывал прочность его земляных стен и каменных башен... Там, на западе, были немцы, которые дани не платили, и потому их следовало разбить, разбить силами вот этих русских во славу великого Кагана, повелителя трех четвертей мира. И снова с татарским выговором прозвучало знакомое слово: Колывань.

Спешно летели гонцы в Ригу и Любек. Орден, переведавшись с Новгородом, отнюдь не хотел иметь дело со всей низовской землей. Летели, загоняя коней, гонцы от магистра в Любек, из Любека в Ригу, из Вельяда в Колывань.

— Мир, мир, мир! Во что бы то ни стало!

Спешно собралось посольство. Орден соглашался на все условия Новгорода, отдавал всю область Наровы, открывал свободный проход в море, умоляя лишь об одном: не проливать напрасной крови. Князю Ярославу, Амрагану и новгородским старейшинам везли богатые подарки.

— Мир, мир, во что бы то ни стало!

И Ганза и Орден понимали, что лучше уступить сейчас в малом, чем рисковать потерять все.

Споры в совете были бурные. То и дело вновь поминали немецкое вероломство. Однако торговля, хиревшая уже целый год, требовала заключения мира. Начать войну — значило еще на неведомое время оттянуть привоз западных товаров и вывоз русских мехов и воска. Ганза после потери Колывани могла перекрыть морские пути и затянуть войну до бесконечности. Словом, отказываться от немецкого предложения вряд ли имело смысл. Решено было взять мир.

Торжественно, на дорогом пергаменте, составленный и скрепленный серебряными позолоченными печатями обеих сторон, договор удостоверял заключение мира и возобновление торговли, подтверждал старинные уложения о купеческом суде по дворе Святого Ивана, взаимных расчетах и исках, плате ладейникам, поручительствах, вирах, продажах, о мерах, весах, пудах и скалвах.

Не успели урядить с немцами, как Новгород был смятен новою бедой: князь Ярослав решил двинуть полки на Корелу.

Корелы были давними союзниками и щитом Новгорода на северо-западных рубежах новгородской земли. Много их было и в самом городе. Не один Олекса вел с Корелой

[1] Баска́к — ханский наместник и сборщик дани.

оживленную и прибыльную торговлю. Намерение князя поэтому задело не только бояр-вотчинников, но и всех горожан до последнего ремесленника. Корелы, которые начали было спешно собираться домой, исподлобья поглядывая на ставших им чужими новгородцев, теперь ободрились, ходили по знакомым домам, упрашивали помочь в беде. Их выборные посетили самого посадника Павшу Онаньинича.

— Сперва нас, а потом уже только и вас не будет!— ответил им посадник.— Новгород еще никому не позволил грабить свои волости.

К Елферию из самой Корелы спешно прискакал Валит, вятший корел старинного знатного рода. Сузив глаза, подрагивая крыльями носа, он напомнил все, что сделали корелы для Новгорода, начиная от разорения Сигтуны. Елферий подвел его к образу Спаса.

— На мече поклянись!— возразил Валит.

Нахмуря брови, Елферий обнажил меч и принес древнюю клятву, свидетельствуя, что, пока он жив, Ярослав не выступит в корельский поход.

Валит обошел затем дома и других бояр.

Ярославу недвусмысленно дали понять, что, прежде чем начать поход на Корелу, ему «достоит уведатися» с Господином Великим Новгородом: ремесленникам уже начали раздавать оружие.

В посадничьих палатах, в Детинце, собрался совет. Решение Ярослава задевало всех, подрывая целость огромной Новгородской волости, простиравшейся от Корелы до Урала, от Торжка, Торопца и Вологды до Студеного моря. Допусти они, чьих дочерей считают за честь брать в жены князья низовских городов, этот поход, и начнут сами собою отпадать, разуверившись в силе Господина Новгорода, Заволочье, Тре, Перемь, Печора, Югра...

Забыты были взаимные раздоры боярские, и когда Ярослав объявил о своем решении, то встретил единодушный отпор всего совета. В ярости он сорвался с места, требовал, грозил. Но спокойно взирали из-под опущенных ресниц на него великие мужи новгородские... Князь Олександр не стал бы бегать по гридне...

— В ту же породу, да не в ту же стать!— шепнул Жирослав Федору Кожичу, а Федор, наклонясь, ответил:

— Щенок у меня был маленький, а злющий — беда! Уж за загривок его несешь к двери, а все норовит гостя лапой достать! Так и он.

— Чем на Корелу идти, так уж ближе Торжок пограбить!— громко сказал боярин Путята.

Князь медленно заливался бурой кровью. Сказано было не в бровь, а в глаз.

Не опуская прямых ресниц под бешеным натиском выкаченных голубых глаз князя, Путята уперся кулаками в расставленные колени. Вот-вот вскочит князь и встанет встречу на напруженных ногах боярин.

— Вече соберем!

И князь вскочил, и стал подыматься с лавки Путята...

Но вдруг тяжелый Сбыслав Вышатич опередил его:

— Не гневай, княже! Выслушай сперва! Корела нам не данники, та же земля новгородская, крестил их твой отец, Ярослав Всеволодович. Не добро, бяше, братью свою воевать! Молим тебя, княже, не вынми меч на слуг своих! Гнев отдай, а не ходи на Корелу!— прибавил униженно слова, которые, скажи их по-иному, могли бы прозвучать и угрозой:— Не я, не мы одни тебя молим, от всего Великого Новгорода, бояр, купцов, простой чади, вятших и меньших, молим тебя — не погуби!

Тяжело склонился в поклоне, утишил Ярослава.

Молчали, трудно дыша, вятшие мужи Великого Новгорода, но все поняли умный поклон Сбыслава и умные его слова. А от поклона голова не болит.

Сел Ярослав, поведя очами, опять не угадал, кинулся было к Гавриле Кыянинову:

— Ты скажи!

Но отвел глаза Гаврило:

— Что я! Я как мир, как совет, как Новгород... Против всего города мне не идти...

Ослабел князь, сдался.

На другой день низовские полки начали покидать Новгород, уходя назад.

XXV

Олекса, когда услышал, что поход на Корелу отменен, радостно потер руки:

— Миром и медведя свалят! Теперь без опасу! Весной корельское железо повезу, Станьку пошлю!

Вдвоем с братом начали готовиться к весеннему торгу. Считали, ссорились. Тимофей жался, не хотел говорить, сколько у него серебра... Мать наконец позвала обоих к себе в горницу. При ней братья перестали спорить, урядили.

— Еще одно дело...— со смущением начал Олекса.— Гюрятич ко мне приходил, прошал снова повременить с долгом... Чаю, и вовсе не отдаст.

— Отдавать ему нечем.

— Говорит, теперь, по весне, и мог бы расторговатьсе, да весь в долгу, не поправитьце. Прошал еще гривен

пять, тогда бы, говорит, на ноги встал... Не даром! Обещает...

— Я твоему Максимке не дам ни векши, и, коли дашь, забудь, что я тебе брат!— забыв, что мать рядом, закричал, не дав договорить, Тимофей.

— Сынове!— воскликнула Ульяния с укоризной. Оба стихли.

— Возьми ты приказчиком его, Максимку-то!— вновь подала голос мать.

— Гюрятича?— Как-то никогда не мог представить себе Олекса старого друга, купца, приказчиком.— Максима?

Олекса растерянно поглядел на мать, потом на Тимофея.

— Что, брат?

Тимофей, сердито глядевший в пол, неожиданно согласился:

— Можно взять. В торговом деле без своего подлеца не обойтица! Только с Максима нужен залог, не сблодил бы чего...— Тимофей подумал, пожевал губами:— Пускай немца долг на нас переведет, хоть на меня, я не с него, так с троюродной родни колыванской, а получить сумею. Лавку, что в торгу, тоже. И долг с лихвой, что на него набежала, тоже на него записать!

— Не много ли будет?

— Максиму-то?

— Согласится ли еще...

— Он-то?! Да руки будет целовать, вот увидишь! Максима твоего, если хочешь, давно можно продаже объявить, а как жонка за него поручилась, то и ей конец приходит. Всей семьей в холопы идти из купечества. А и Ратибору он теперича не больно нужен, тот своего добилсе, дак и развязатьце будет рад: много лишнего знает Максим.

— Вот как?

— Вот так! И не прошай меня боле. И так лишнее сказал.

Максима Олекса увидел назавтра же. Гюрятич пришел точно в назначенное время. Отметил Олекса, подивился: раньше того не было! Стало, и верно, подвело его... Отводя глаза, чтобы не видеть жалкого выражения в бегающих глазах Максима, передал ему предложение. Поник головой Максим.

— Петлю ты мне надел, Олекса, как же так? Я да ты, столько лет мы...

— Слушай, Максим! Пойми и ты меня. Я теперь не один, в доле с братом.

— Тимохой?

Взглянул Максим, дрогнули глаза, побежали врозь, сник, повесил голову.

— Дай подумать, Олекса... Да что! Думать-то мне уж нецего. Промашку я дал с немцем тогда, стало его догола стричь... И с Ратибором тоже... Ну что ж... Как величать-то тебя теперя, Творимиричем?

— Это ты брось, Максим! На людях, там ништо... А так — и домой ко мне, ты и жонка, милости прошу! Двери всегда открыты. А весной, по воде, в немцы пошлю с товаром. Тамо, гляди, станешь богаче прежнего.

— Ну, коли так... Прости, Олекса. Вот я тогда на тебе хотел отыграться, ан как повернулось!

— Все в руце божьей, Максим. Сегодня ты, завтра я. Сам знаешь, какое оно, счастье наше купеческое. Ну, прощай до завтрева. А лавку принимать я Нездила пошлю, тебе способнее так будет.

— И за то спасибо, Олекса.

— Не за что, брат.

Ушел Максим. Постоял Олекса на крыльце, вздохнул: «Вот оно как! Однако ж сам виноват. Чего тогда, ишь... татьбу предлагал! На Якова клепал... Да-а... Максим Гюрятич, так-то вот!»

Зашел в горницу. Домаша, не оборачиваясь, спросила:

— Купил Максима Гюрятича? Не дорого он вам станет?

— Ничего, уследим.

— И Тарашку его тоже берешь, поди?

— Тараха нет, тот-то мне совсем не нужен. Теперь Тараху одна дорога, в яму, а то в нетях объявитце, ну, тогда еще попрыгает малость...

— Ну и то добро! Слыхала я, как ты его всякий час звал заходить...

— Не боись. Всякий час не станет. Хоть и я на себя прикину — стыдно мужику. Какой купец был!

Потянулся Олекса, хрустнул плечами.

— Живем, Домаша! По весне расторгуемся, гляди. Лучше прежнего у нас с братом пойдет.

— А за Дмитра кто у тебя теперя?

— За Дмитра... Тут дело не метно. Козьма у них... Я к нему уж и так и эдак, жмется! У тех и других берет. Я еще промашку маленьку сделал: сразу-то не сбавил ему. Ну, однако, корельское железо у меня все возьмет! А Максимову лавку на себя переведу, меховой торг откроем, там, глядишь, еще и прибыльнее станет! Собери, что ли, нам с братом на стол, закусим малость. Да и по чарке медку не худо... Припозднились севодни с делами-то!

1965

ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, ЕГО ЗЕНИТЕ И ЕГО ГЕРОЯХ

(Послесловие автора)

Города, как люди, старея, уходят под землю. Прах разрушенных построек — «культурный слой» — покрывает древнюю почву, и город незримо растет, возвышаясь с каждым столетием над своим прошлым, засыпая подошвы старинных зданий, и те словно бы тонут в напластованьях веков.

Деревянные мостовые Новгорода на пять — семь метров ушли в землю. В раскопках археологов они выглядят как высокие, в три человеческих роста, штабеля почерневших от старости бревен. Мостовые перестилали (настилали новые сверху старых) каждые двадцать лет. По этим мостовым да по нижним венцам сгоревших некогда и вновь выстроенных хором археологи определяют время, датируют потерянные пять-шесть столетий назад вещи: гребни, кресала, продолговатые кусочки бересты с процарапанными на них буквами древних писем, обрывки кожаной обуви, сточенные топоры, иногда продолговатые серебряные слитки — гривны, деньги древнего Новгорода.

В Новгороде и теперь,— отвлекаясь от стандартных блоков современной застройки, от завода, воздвигнутого на Торговой стороне, рядом с Ярославовым дворищем,— можно ощутить историю, почти пройти по древним улицам (вернее — над ними, выше них), взглянуть на свидетелей великого прошлого — храмы и башни вечевой республики, на светящуюся в сумерках северного вечера текучую струю Волхова, представить крылатые ладьи на ясной воде, неусыпный шум торга, прикоснуться душою к векам минувшим, невянущий свет которых и доныне брезжит нам сквозь толщу прожитых событий и лет и будет еще долго светить, вызывая восторги и споры, пробуждая гордость и сожаления, ибо странным образом люди эти, которые жили, торговали, воевали и праздновали в суете ежедневных свершений, сумели, как оказалось потом, заработать себе право на величие в веках, право на бессмертие.

В Новгороде впервые я побывал, когда еще и догадаться не мог, что когда-то стану писать об его историческом прошлом. Еще не были раскопаны хоромы горожан XII — XV веков, не были найдены берестяные грамоты — маленькие четырехугольные, коричневые от времени, кусочки древних писем, чудесно оживившие голоса далекого прошлого. Но царственно сиял на северном сиренево-сером небесном окоеме золотой купол Софии, и, лишенная колоколов, звонница по-прежнему тяжело и гордо вздымалась над крепостными стенами Детинца.

Много лет спустя, уже написавший первую повесть свою, я сидел в Новгороде, в комнате археологов, с трепетом прикасаясь к потемневшим от времени предметам быта древних горожан, разглядывал гребни и буквицы, вертел в руках костяную уховертку, удивляясь нарочитой мастерской небрежности безвестных резчиков, ощущая буквально кожею ладную уютность, умное изящество каждой содеянной ими вещи. И было то, чему мне трудно и поднесь подыскать название и что я тогда, несколько наивно, называл для себя «крестьянским аристократизмом»: удобство, не отторжимое от красоты, основательность, высокое уважение к человеку, к личности, к гражданину, проглядывавшие буквально во всем, начиная от костяного двустороннего гребня до какого-нибудь долбленого вагана, ложки или туеска, тоже своеобразного шедевра, и уже душепонятно становилось, что «небрежность» мастера тут есть не небрежность, как таковая, а «преодоленное мастерство», что этой-то вот живой, трепетной, человечной «неправильности» научиться, быть может, труднее всего.

В начале века наш замечательный искусствовед Игорь Грабарь сказал вещие слова, в ту пору прозвучавшие несколько нарочито, что придет, мол, время и иконы новогородского письма будут цениться наравне с античной скульптурой. Время это приходит, пришло. Во всяком случае, слова Грабаря ныне уже не кажутся запальчивым преувеличением ценителя-специалиста.

Вклад Новгорода Великого в русскую культуру ни описать, ни оценить невозможно,— он безмерен, более того, он до сих пор еще и не осознан во всей полноте своей, потому что и на диво высокая культура северных крестьян-поморов, давших стране отнюдь не одного лишь Ломоносова, и сохраненный тем же севером эпос — это тоже наследие новогородской культуры.

А настойчивые возвращения к истории новогородской республики наших мыслителей, художников, политиков и публицистов?

Да, была и идеализация вечевого строя, были и упрощенные толкования «вольностей» новогородских; быть может, только наука наших дней в полной мере разобралась в непростой структуре вечевого строя (и тут нельзя не вспомнить работы выдающегося нашего ученого академика В. Л. Янина), но и при всех уточнениях, при всех новых истолкованиях исторического процесса, Новгород Великий останется негаснущею святыней нашей великой старины.

Энергия действования, как и всякая энергия, возникает при разности потенциалов. Надобны напор, борьба, одоление и противоборство сил. Частые всплески мятежей, смена посадников, бои на Волховском мосту, возмущения горожан — до поры все это было знаком и показателем силы, а отнюдь не слабости, и Новгород Великий рос как на дрожжах, богатея, люднея, наливаясь силой, расширяя свою и без того немалую волость все дальше и дальше за Камень (за Урал), приобретая, распахивая, заселяя и застраивая земли русского севера.

XIII век — время безусловного подъема новогородской республики. А трудная Раковорская битва (кстати, навсегда отбившая охоту у немецких рыцарей воевать с Новгородом) показала твердость вечевого строя, способного в грозный час организовать действенное сопротивление коварному, сильному и организованному противнику.

Разумеется, нельзя забывать, что демократия Новгорода Великого (так же, как демократия Флоренции, Рима, Афин) была демократией далеко не для всех, что помимо полноправных граждан были зависимые и полузависимые жители, были холопы, что и в среде полноправных горожан существовало деление на вятших и меньших, подобное делению на патрициев и плебеев в Древнем Риме, что, наконец, и сам Новгород возник как союз трех племен, разных этнически (два славянских и одно чудское), что племенная рознь пережиточно продолжала сохраняться в розни городских концов Великого Новгорода и в итоге эта рознь, усугубленная возникшими классовыми противоречиями, и погубила вечевой строй и самостоятельность новогородской республики...

В XIII веке до всего этого было еще далеко. Еще почти столетие пройдет до реформы Онцифора Лукина (1350—1354 гг.), организовавшей коллективное боярское посадничество, покончившее вскоре с подлинной демократией низов; а до окончательной гибели Новгорода и его присоединения к Москве (1480 г.) еще и вовсе далеким-далеко, хотя в зачатке, в зародыше, все позднейшие роко-

вые конфликты содержались в бурном бытии растущей новогородской республики уже и в славном XIII столетии.

Новгород, как сказано, возник в виде союза трех племен: славен, образовавших Славенский конец на правой (Торговой) стороне Волхова (позже из него выделился в особый конец ремесленный пригород, получивший название Плотницкого конца); кривичей, образовавших Прусский, или Людин, конец — по-видимому, в возникновении этого конца принимали участие балтийские славяне, отступившие под натиском немцев, и, возможно, разделившие их судьбу пруссы (литовское племя, целиком уничтоженное немцами, на землях которого позже и возникла Пруссия, агрессивное немецкое королевство), третий, Неревский конец первоначально был чудским, и название его, по-видимому, происходит от имени реки Наровы, пограничной меж землями чуди новогородской и эстами. Между Людиным концом и Неревским позднее возникло Загородье — пригород, превратившийся в пятый городской конец.

Сам факт этого союза племен убедительно доказан В. Л. Яниным.

Исторический романист имеет некоторое право на гипотезы. Могу представить себе, что с легендарным Гостомыслом с юга, откатываясь после аварского погрома, пришли именно словене, на горьком опыте своем, в сражениях с обрами (аварами) и Византийской империей понявшие необходимость государственного единства, почему они и явились инициаторами возникшего союза. Те же, кто отступал из Прибалтики, также понимали, что племенная разобщенность — плохая защита от врага. Однако и те и другие уходили от насилия, стремясь сохранить идеалы племенной демократии. Вот как, мне кажется, определилась духовно-идеологическая основа позднейшей вечевой республики. И в бесконечных кончанских спорах своих, при всех прихотливых извивах исторической судьбы, Славна чаще опиралась на низовских (позднее владимирских) великих князей, Людин конец «тянул» к Литве, а неревляне упорнее всего и осваивали и защищали северные владения Великого Новгорода — населенное чудью Заволочье.

Три опасности подстерегают подобные города-государства: рознь старых и новых граждан, приводящая к затяжным внутренним конфликтам; опасность возникновения личностной диктатуры; местническая узость, вызывающая споры главного города с его «пригородами» и пре-

пятствующая созданию общенационального государства. История античных полисов, городов-государств, явила нам достаточно вариантов всех этих трех роковых для демократии опасностей. Античная Греция так и не смогла объединиться в одно государство, а Римская республика, создав огромную империю, сама пала жертвой этого гигантского организма.

Новгород, казалось бы, развивался счастливо, избежавши установления диктатуры, и мог, по-видимому, сложиться в особое русское государство, подобное Риму, с демократической формой правления. История, однако, пошла иначе. Потребовалось объединение всех сил огромной страны — и узкоместническая новогородская демократия не устояла. Начались ссоры с «пригородами» — Псковом и Вяткой,— добивавшимися отделения от «старшего брата», начались внутренние трения граждан. В конце концов выродившись в боярскую олигархию, новогородская республика пала под ударами объединенной Москвы. В своем втором романе («Марфа-посадница») я постарался показать этот трагический закат великого города.

Политическая необходимость слияния русских земель в одно государство не должна, однако, закрыть от нас великой ценности демократической новогородской культуры и самого опыта древней русской демократии, опыта, имеющего самостоятельную и непреходящую историческую и учительную ценность.

«Господин Великий Новгород» — мой первый литературный опыт. Теперь, по миновении двух десятков лет, мне, автору, трудно уже что-либо изменить или переделать в этой своей ранней работе. Надеюсь все же, что читатель ощутит в какой-то мере тот восторг перед Господином Великим Новым Городом, который заставил меня некогда написать эту повесть.

Дмитрий Балашов

СОДЕРЖАНИЕ

75 коп.